

82.5 (рос. = рус.)
т 14 +

ТАЙНЫЕ
СКАЗЫ
РАБОЧИХ УРАЛА

СП

24/11-112
1980

5/1 909



10 Кат. Кербых стр.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач

20.12-3018	26.01-1074
22.10.86	21.06.-5178
468	26.01-2111
8/01-3162	27.11-1658
9.01-2847	28.01-04-227
8.02-241	148807-844
02.07-1953	

3 ТМО Т. 3.600.000 З. 2896-87

20.10-1327

5. Пользователь абонеента может получить на дом произведение печати на срок до двух недель.
6. Пользователь обязан расписаться в получении каждого документа.
7. Лица, нарушившие правила пользования, а также причинившие ущерб фонду и оборудованию библиотеки, несут материальную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Пользователи имеют право на дополнительные платные услуги, перечень которых дан в «Номенклатуре и прейскуранте платных услуг библиотек».
9. Запрещается вход в отделы библиотеки с сумками, пакетами, книгами из других библиотек, личными книгами.

T-14

Ch. 1

544

2343



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ - МОСКВА



ПРОВЕРЕНО 2011

Б-14.

ПРОВЕРЕНО 2017

Художник Ю. Иванов

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В настоящий сборник вошли тайные сказы рабочих, отражающие в той или другой степени подлинное историческое прошлое, пережитое рабочими Урала.

Помещенный здесь материал нередко находит подтверждение в вполне достоверных архивных документах.

Рабочие передают эти памятники народного творчества не как бытующие или бытовавшие в их среде предания, легенды и сказки, а как воспоминания о фактах, свидетелями которых были если не они сами, то люди, которых они лично знали или помнят по рассказам своих близких.

Отдельные тексты подверглись моей редакционной правке. Так, например, в разделе «Рассказы о гражданской войне» есть сказ Евдокимовой «Как песня меня живой сделала». Сказ этот составлен мною из нескольких вариантов. Случайно я услышала, как эта седая женщина пела юношески молодым голосом «За власть Советов». Три раза, по моей просьбе, она повторяла свой рассказ и каждый раз вносила все новые и новые добавления, оставляя нетронутым основной сюжет. В результате у меня появилось несколько вариантов, рассказанных одним лицом, и в сборник я поместила сказ, скомпонованный из этих вариантов.

Большая часть материала, вошедшего в этот сборник, подверглась редакционной обработке, которую я считаю совершенно необходимой. Она заключалась в устранении явных измышлений собирателей, словесной шелухи и несущественных вводных эпизодов. Как составитель, я стремилась к тому, чтобы приблизить художественные сказы рабочих к читателю.

Е. М. Блинова.

— Спасибо,—говорит,—недаром «Золотой» тебе прозвище дали—золотые слова твои, атаман. Вовек я тебя не забуду, что не дал ты меня в обиду. Перстенёк этот с камнем на палец надень и не сымай никогда. Не простой это камень—сила в нем большая сокрыта. Повернешь верхом камень—ворота железные-медные сами раскроются, замки, цепи сразу рассыпятся. Гора каменная сама раскроется. Только не забудь, смотри, перстень вверх камнем повернуть да слово мое сказать.

Нагнулась с коня, одела атаману перстень на палец, на ухо слово како-то шепнула, пригнулась к коню и в лесу пропала.

Посмотрел атаман ей вослед, на кольцо посмотрел. Камень зеленый, — изумруд будто,—повернул, а он то солнцем горит, то как заря утренняя цветом меняется; повернул вниз—опять зеленое. Сколько камней перевидал атаман, а такого еще не встречал.

Повернул он перстень вниз камнем и пошел к товарищам. Ничего его не спросили, ничего не сказали. Такой порядок был—в атамановы дела не мешаться.

Скоро ли, долго ли, а прослышал атаман «Золотой», что Ширяев-то этот на Шайтанском заводе уж так над рабочими людьми изгаляется, дальше некуда,—не то девке—бабе в тягости проходу не дает,—о делах его и говорить-то тебе не решуся. Одно слово, срамota. А людей в подвалах без счета держали в железах, к колодкам прикованных. На заводе-то Шайтанском «Золотой» не раз бывал, в караван нанимался, дружок там у него, Ванюшка, на заводе робыл. Как услышал атаман про те злодеяния неслыханы, невиданы, вскочил на коня своего верного и поехал напрямик, как пуля, через лес, через горы к верному своему дружку Ванюше, привез ему пули заговорены, что своих не берут, а чужих без промаху бьют.

Собрали они на заводе потайно еще шестерых—все как надо обговорили.

Кого из рабочих «Золотой» внизу оставил, а сам с Ванюшкой да еще с двумя, которых имя забыл, во двор вошел. Караульный сам и ворота раскрыл, а других—которых повязали.

«Золотой» впереди идет. Поднялись они наверх. Слугу того, который у дверей стоял, связали и словечка сказать не дали. Других слуг кого повязали, а кто с ними пошел—дорогу показывать.

Вышли на галдарейку, глядь—дверь медна-кована. «Золотой» слово како-то сказал и перстень повернул; сверкнул камень, и дверь-то сама раскрылась.

Прошли они дальше. Глядь—дверь серебра белого перед ими закрыта. Опять атаман слово како-то сказал и перстень повернул. Сверкнул камень, и дверь-то сама раскрылась.

Прошли они дальше. Глядь—дверь золота чистого. Опять атаман слово како-то сказал и перстень повернул. Сверкнул камень, и дверь-то сама раскрылась.

Было это дело ночью, тут как раз с колокольни двенадцать часов ударило.

Три двери прошли: первую—медну-ковану, вторую—серебра белого, третью—золота чистого. Вошли в последнюю горницу, дальше идти некуда. Хотел атаман повернуть, а тут, откуда только взялась, сиротка та, дѣвица-красавица, что «Золотому» перстень дала. Подошла к «Золотому» и рукой показала на стену. Стена-то золотой парчой обита—не видать ничего.

Подошел атаман, сказал слово како-то и кольцо повернул.

Камень не зеленым стал, кровью загорелся, и стена расступилась.

Прошел «Золотой»,—глядь—дверца маленькая. Перед ней—пёс—тигра лютая, неслыхана и невидана, с изумруд-камнем в глазах. Бросился тот пёс на «Золотого», а атаман глянул на него, пёс остановился. Перстень атаман повернул, сверкнул камень, пёс голову отвернул и пропустил атамана.

Вошел это атаман в горницу, а Ширяев в одном исподнем у постели стоит, весь трясется. Увидел «Золотого», на колени бросился, руки, ноги его целует, слезами плачет, рыдает.

— Пощади,—говорит,—ничего для тебя не пожалею, что хочешь бери. Уйду я вовсе отсюда и не вернусь.

Тут крик, шум подняли, кто с атаманом пришел:

— Не слушай его, атаман, злодюга каким был, таким и останется. Никуда он отсюда не денется, от богатства своего не откажется.

Посмотрел только атаман—тихо стало.

Барина того трясучка трясет, зубами чакает, говорить со страху не может.

Поднял атаман свой пистолет турецкий.

— Пули на тебя жалко,—говорит он.—Ты не так... нас мучил—только возиться с тобой не время.

Застрѣлил он того собаку, а сам в подвалы подземные

спустился, выпустил, кто цепями железными к колодкам каменным прикованы сидели. Оружьё там которое, золото и добро барское все крестьянам да рабочим поотдавал.

Себе взял только золота самородок да камни—самоцветы красоты невиданной, и тайный плант—из золотой шка-тулки вынул.

Хотел девицу-сиротку с собой забрать, да раздумал—поклонился ей низко, сел на коня и уехал.

Скажу этому долго еще конца не будет, только какие слова говорить, забыл. Одно хорошо знаю: не казнили «Золотого», ловили-ловили, а словить его не могли.

Да и то сказать: как тут словишь, когда кольцо у него чудесное было? Совсем уж догонять стали, двадцать че-ловек за одним гнались, а «Золотой» к Азов-горе их при-вел, повернул вверх камень. Сверкнул камень. Гора раскрылась, и пропал атаман.

В пещере той в Азов-то горе девица-красавица золото стережет и оружья там много понакидано.

Туда и Омелян Иваныч к атаману приходил, вместе воевали потом. А что казнили «Золотого» и со всех заводов на казнь смотреть гоняли—то сказки: другого казнили, не «Золотого».

3. СТАРОЖИЛЫ О ПУГАЧЕВЕ

Много боев дали отряды Пугачева войскам царицы Катерины в районе Саткинского завода. Многие рабочие из Сатки ушли в отряды Пугачева, в самом заводе вспыхнул бунт. Сам Пугачев сражался с отрядами генерала Михельсона в восьми верстах от Сатки, по направлению к Златоусту. Там и сейчас сохранились следы пугачев-ского вала-рва. Там есть курган, в котором,—старикки передавали,—похоронены в общей могиле павшие в бою пугачевцы. Названия ряда мест сохранились от тех времен, когда здесь были пугачевцы. Вот, гора недалеко от желе-знодорожной станции Бердяуш. Она называется Красно-околовка. На этой горе стоял один из отрядов. Командир этого отряда носил шапку с красным околышем. С тех пор гору зовут Краснооколовка. На верхушке этой горы и те-перь еще есть следы, где были укрепления, где стояли пушки Пугачева.

А вот «Копанец». В этом месте прокапывали дорогу пугачевцы, уходя за Урал.

Отряды Пугачева, проходя через село Бродокалмак, значительно пополнились, так как многие крестьяне пошли с Пугачевым. Ушел с ними и Герасим Лузин (прадед бабушки, передававшей это сказание). Он доходил с Пугачевым до Казани. Когда Пугачев отступил от Казани опять на Урал, часть пугачевских войск проходила недалеко от Бродокалмака, и Лузин дальше не пошел, а остался дома, схороняясь летом в поле, а зимой в голбце (подполье). Однажды, когда за ним пришли солдаты, он залез в яму с водой, дышал через соломинку и только тем спасся от наказания.

Верстах в семи от Бродокалмака, по дороге в город Челябинск, есть озеро «Богатое». Название свое, по преданию, озеро получило от следующего случая.

Во время отступления пугачевских отрядов по теперешнему Челябинскому тракту, а тогда еле заметной дорожке, ехала повозка с войсковой казной Пугачева и в этом озере завязла. Вытаскивать было некогда, так как по пятам отступающих шли правительственные войска, и повозка затонула. Это и послужило причиной назвать озеро «Богатым». Отряды Пугачева, проходя через село Бродокалмак, теснимые отовсюду войсками Екатерины II, видели, что они в ближайшем будущем могут быть разбиты. Чтобы сохранить имеющиеся ценности, они закапывали их в землю, замуровывали в стены и т. д.

Верстах в семи-восьми от Бродокалмака, на поле у Чухаревых М. П. и Т. А. было также что-то закопано. Долгое время об этом только говорили, но дедушка Тимофей Алексеевич Чухарев решил попытать счастья. Привез бабушку-ворожею, рассказал ей, в чем дело, и просил помочь. Долго старалась ворожея и заявила: «Клад здесь, но он тебе не дастся, а будут у тебя внуки, они-то и воспользуются». Дедушка Тимофей не стал копать клад, раз время не пришло.

Незадолго до германской войны его сын со своим дядей решили раскопать клад. Около месяца копали они украдкой землю. Наконец они в одном месте, на глубине нескольких аршин, наткнулись на какие-то полуистлевшие бревна и обломки колес. Но больше ничего не нашли. Так и пропала даром месячная работа в погоне за кладом.

Было это весной, в мае месяце 1774 года. Шел Пугачев со своим войском от степной крепости по дороге через реку Санарку, значит, с западной стороны к Троицкой крепости. Кроме боевого народа, в обозе его много было пленных офицеров и их жен. Стал он обстреливать Троицкую крепость пушками,—штук с тридцать у него их было. Хотя крепость и противилась, но крепость взяли. Вошли в крепость, взяли всех в плен, а казну и пожитки разграбили. Коменданта крепости и четырех офицеров убили, а солдат, а их было до полтысячи, забрали к себе. Вечером солдаты просили Пугачева, чтобы он их отпустил поехать домой, в крепость: «Утром чуть свет мы придем, и слово в этом даем тебе». Ну, он, по доброте своей, отпустил их. А случилось так, что под утро (быть греху!) неожиданно напал на него со своим войском генерал-поручик Декалон какой-то. Пугачев во время битвы был ранен в руку и страдал от боли, лежал больше в палатке, хотя и распоряжался боем. Если бы не это, то, быть может, и не преодолел бы его Декалон. Произошла паника, и Пугачев бежал с остатком войска по направлению к Кундровинской крепости. После он собрал много народу и пошел громить власть по заводам. Дворян и попов вешал, а простому народу много давал льгот и свободы. Молодец был!..

4. ЕМЕЛЮШКА

Среди непроходимых лесов жил-был охотник по прозвищу Пугач. Жил он один со своей женой. В лесах он бил зверей, на болотах—диких уток. Жили-поживали, ни бед, ни горя не знали. Но долго ли, скоро ли, а пришло времячко, и родила жена мужу сына-богатыря.

Назвали они сына Емелюшкой. Рос Емелюшка не по неделюшкам, рос Емелюшка не по дням, а рос он по часам. Вырос Емелюшка выше березоньки плакучей, крепче дуба. Стали Емелюшку в путь-дорогу собирать, коня вороного выбирать. Выбрали коня с шелковой гривой, с золотой уздечкой. Накинули на коня седло прадедовское с бахромой турецкою.

Простился Емелюшка со своими стариками, вскочил на коня, гикнул и помчался в далекие края, за океаны, за моря, себе счастье и долю искать. Долго ли, скоро ли—ехал Емелюшка. Много посадов он объехал, много боль-

пих рек переплыл, много деревень видел, но нигде счастья и доли себе не сыскал. Видел много народу рабского, нужду кромешную, голод смертельный, болезни повалыные.

Видел Емелюшка хоромы барские, дворцы царские, жизнь беспечную, дармоедскую. Закручинился молодец, призадумался. Призадумался да пригорюнился, буйную голову свою повесил.

Долго ли, скоро ли—думал Емелюшка. Навстречу ему шел странник. Увидел странник Емелюшку и спрашивает его:

— Что, молодец, закучинился, что буйну голову повесил?

Отвечает Емелюшка:

— Да как мне не горевать да буйной головы не весить? Весь свет я объехал, счастья и доли искал, но не сыскал. Много людей я видел, да все живут в нужде и великих страданиях. В поте лица работают, а умирают с голоду. Скажи, странник: как голытьбе помочь да проклятых бар с шеи сбросить?

— Не журишь, молодец, не кручинься, удалой, воспрянь духом и скачи в леса дремучие, в степи завожские, в горы Уральские, собери голытьбу и объяви вольницу,—ответил странник.—А на прощанье на вот тебе меч, чтобы сечь. Только не теряй его, а береги, всех врагов-бояр секи.

Поблагодарил Емелюшка странника, припширил коня вороного и поскакал в дремучие леса, в степи завожские, в горы Уральские. Летит конь—земля дрожит, у коня из ноздрей огонь палит, из-под копыт искры летят. Везде, где Емелюшка бывал, всю голытьбу к себе созывал. Долго ли, скоро ли, собрал Емелюшка войско большое-пребольшое, объявил им вольницу. Пошел Емелюшка с вольницей на белокаменные дворцы боярские, на поколение боярское, на царицу-распутницу. Запылали хоромы барские, испугались слуги царские. Доложили царице об бунтаре Емельке Пугаче. «Скажи, царица, что нам делать и как быть, как Емельку Пугача изловить?»

Испугалась царица Емельки-бунтаря, послала войско изловить богатыря. Приказала изловить и живым доставить к себе. Ну, у Емельки был меч-сеч,—как вернет плечом да махнет мечом, словно и не бывало войска царского. Ни пушки, ни ружья, ни крепкие ворота крепостей не помогали боярам. Прошел Пугач почти всю Волгу и голытьбе барское добро отдал, а врагов в воду бросал да на деревьях

вешал. Где Емелюшка бывал, всех он ласково встречал, добрым словом наделял, землю барскую голодным отдавал. Встречал народ Емелюшку с хлебом-солью, с колокольным звоном, с радостью великой.

Долго ли скоро ли, но Емелюшка дошел до Царицына. Войско его подпылыло на стругах да судах. Встретился он тут с силушкой царскою, со знатью боярскою. Завязалась неравная битва. Бились долго, река кровью облилась, но царское войско в плен не сдавалось. Тогда Емелюшка вспомнил про меч-сеч. Да как развернулся и махнул мечом-сечом, а меч из рук упал да в воду. Пропала силушка у Емелюшки. Струги его с войском были потоплены, а Емелюшку царские слуги сцапали и голову на плахе отрубили.

Погиб Емелюшка, но слава о нем не погибла.

5. СКАЗ ОБ АТАМАНЕ «БЕЛАЯ БОРОДА»

Было это, когда царица Катерина дела русские правила. Бедному народу плохое было время в здешних местах. Нагнали к нам крепостных со всех сторон, робыть на господ да на заводчиков. А вокруг леса непроходные, болота зыбучие, горы высокие, звери лютые табунами ходили—жизнь мужику хуже каторги. Дотемна лес рубили, уголь жгли—на завод возили, а за каждую провинку кнутами бьют. Ране мужик землю пахал, а тут с лесом управляться пришлось. А лес-от неласков—задавить норовит. Вовсе невмочь стало: и свет не мил, и жизнь нерадостна.

Прошел тут слух, что появился казак-атаман Пугач. Будто судит он господ. Судит да приговаривает: «Не пей кровушку крестьянскую, не измывайся над бедными холопами». Дошла эта весточка и в леса наши Тургоряцкие. Тут наши мужики и задумались. Стали они тайно ходоков посылать, Пугача в леса для расправы звать. Одного пошлют, неделю ждут—ни слуху, ни духу, ни весточки. Другого пошлют—то же самое, и третий уйдет—вестей не несет, как в трясину провалится. То ли зверь их задрал, то ли приказчик догнал, то ли до хороших земель дошли, назад идти не торопятся.

Год прошел, а все по-старому.

Дождались весны. В лесу птички поют, разливаются, рыба икру мечет, глухари на току стонут. И появился

в лесу старичок. От стана к стану похаживает, радостную весточку рассказывает—пришел-де к озеру Тургойк атаман, «Белая борода» прозывается. Раскинул свой стан на высокой горе, а с ним будто сила несметная. Прислал его сам Пугач-атаман мужицкие жалобы выслушать, а злых обидчиков смерти предать.

Со всех сторон идут мужики на гору высокую, к атаману «Белой бороде». Не с пустыми руками идут—на расправу злых приказчиков тащат с собой. Ненароком попался господский сынок—и его волокут. Он идет, ревет, упирается—знает, собака, что смерть близка.

«Белая борода» мужиков ласково встречал, бороду седую поглаживал, жалобы мужицкие выслушивал, скорый да правый суд вершил, обидчиков смертью наказывал, обиженных казною одаривал.

Легче стало жить мужику—горькая каторга сгинула, приказчики стали ласковые, а хозяева в лес и носа не кажут—за шкуру свою собачью побаиваются.

Да скоро от нас атаман ушел, молодых мужиков он с собой увел, напросились они в попутчики, пошли с атаманом правду искать. А постарше, семейным—куда идти, жены за руки придерживают, дети за шею цепляются.

Недолго гулял удалой атаман. Настигло его на Увельке-реке огромное войско царицыно. Большой генерал из пушек палит, «Белой бороде» сдаваться велит. Да только не сдался удалой атаман, от пули генеральской смерть принял; войско его по лесам разбрелось. А гору, где станом стоял атаман, с тех пор горой Пугачевской зовут.

6. ПРО ДЕВКУ АНИСКУ

В горюновском роду уродилась баская девка Аниска. Не было красивее ее и голосистее во всем селе. Парни от нее без ума были, да и мужики ненароком заглядывались. Уж и сватов за ней посылали не мало, а она все нейдет, и родитель ее не неволит. «Пусть,—говорит,—подрастет да ума накопит поболее».

Ну, ладно. Только пошла раз девка Аниска в бор за грибами. Ушла девка—и шабаш, назад не вернулась. Искать-поискать—нет Аниски. Неделью поискали да и попустились. Сгинула девка с божьего света—куда незнамо. Поплакали

мать с отцом, пожалели парни да девки, тем дело и кончилось.

Вот прошло десять лет. Об Аниске давно и думать забыли.

В те поры время пошло иибко беспокойное. Раньше-то во всех окрестных местах башкиры жили. С давних времен землей владели. Но год от году русские начальники их повсе стеснили,—самые лучшие земли отбирали, а чем дальше, тем больше.

Только вскорости прошел слух, что появился грозный атаман казачий Пугач. Будто отбирает он землю у богатых и скотину и все—и отдает даром бедным. Зовет их за это итти с ним войной на Катерину, чтобы по всей Расее помещиков побить, Катерину утопить, а самому царем стать. Ну, нашим-то, шумгинским, почитай, было все равно—у нас земли не было и помещиков тоже. Только приказчики да куреньчики крепко народ прижимали, дак с ними в те поры на месте управились, втихомолку, а новые-то первое время самочинствовать побаивались.

А вот башкиры, те прослышались, что ходит в помощниках у Пугача славный богатырь Мухамет Кулуев, родной из деревни Таганай. Была такая деревня в самых горах.

Ну вот. Хочет-де Мухамет землю у русских назад отобрать и башкирам отдать. И есть будто ему на это приказ от самого Пугача, только русских купцов и помещиков Мухамет никак не осилит и помощи у родичей просит. А становищем он стал у Троицка, в степи. И повалили тогда башкиры толпами к Мухамет Кулуеву—воевать на помещиков и русских богатых мужиков. Почитай, все башкиры ушли к нему, одни старики остались в деревнях.

Ну вот. Собрал Мухамет два отряда и повел их на Оренбурх, где главные правители сидели. Впереди одного отряда сам поехал, другой повела баба его, по прозванию Анис-Казым. Да, видно, пропала вконец удача башкирская. Не дошли башкиры до Оренбурха. Настиг их русский генерал с огромным войском и всех побил, а Мухамет Кулуев с бабой в плен обманом взял.

А в те поры наши мужики в Троицк за хлебом ездили. Вернулись и рассказывают: будто поставил русский генерал на берегу реки два столба, наложил вокруг них два костра, привязали к столбам Мухамет Кулуева с Анис-Казым и те костры подожгли.

Соплось народу со всех сел тьма, а солдаты близко не подпускают. У многих сердце зашлось, плачут навзрыд. И наши мужики тут же стоят.

А рассказывают, что у Мухамета был сын, малец семи годов—Мингарей. Укрыли его башкиры от генеральской расправы. Ну вот. Горят костры, жженым телом пахнет, а Мухамет с Анис-Казым не плачут, не стонут и ни слова не говорят.

А когда дошел огонь до груди Мухамету, повернулся он лицом в степь да так засвистел, что у солдат ружья выпали из рук, а народ на колени повалился. И вот из-за той стороны реки, в степи, показался вороной жеребец, а на ём Мухаметов малец—Мингарей.

Увидал Мингарей мать и отца, остановил жеребца и горько заплакал.

Генерал русский отдает солдатам приказ: «Стреляйте!», а у тех руки трясутся и ружья не стреляют.

Мать и отец пролопотали что-то сыну, затем Мухамет снова свистнул, гайкнул, и вороной жеребец умчал Мингарей в степь. И только тогда у Мухамета слеза показалась. Опустил он голову на грудь, да так до смерти больше ее и не поднимал. А жена его, Анис-Казым, повернула голову к народу и вдруг заговорила по-русски:

— Люди добрые! Нет ли кого из дальнего села Шумги?

Оторопел народ, испугались мужики, а Силантий Горюнов не сробел, выступил вперед и говорит:

— А вот я из Шумги, Силантий Горюнов!

Заговорила тогда жена Мухамета тихо с костра,—огонь ей уж до сердца дошел:

— Братец ты мой, Силантьюшко, али не узнал девку Аниску, сестру твою родную? А скажи ты родителям и всему народу, что умерла я, Аниска, за доброе дело. Прощай!

И тут же она умерла.

Опомнился генерал, осердился, затопал ногами, закричал и велел народ разогнать.

С тем наши мужики и домой вернулись. Только слышали они в пути от башкир, што давным-давно привез откуда-то девку Аниску к себе в деревню молодой тогда Мухамет Кулуев и с той поры она с ним и жила.

А про Мингарей рассказывали, будто тайно увезли его в Турцию, возрос он там, большим начальником стал и все с русскими воевал.

7. БУНТ В СЛОБОДЕ ВОСКРЕСЕНСКОЙ

185631/с.м.м.15

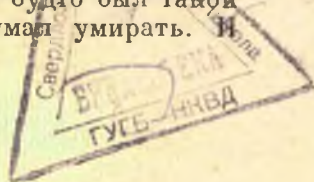
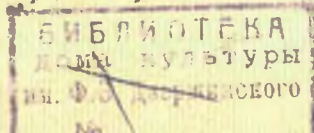
Давно это было, ребята... Мне вот шесть десятков лет, а и меня ишшо не было... Я от дедыньки слыхивала... Картошку тоды не ели... да и не знали ее... Грамоте не разумели. Грамотеями-то больше волостное начальство было... А они от мужика особо вели... Был втупор грамотей Андрюшка Варушкин, письмоводителем в волости робыл. Ну, этот с мужиком всегда вел запросто... Любили его мужики... И верили ему во всем...

22465
504

Ну так вот, жили старики ничаво. Хлеб сеяли, рыбу в Миассе ловили... скота иные не мало держивали. А тут на тебе: каки-то порядки стали меняться. Из губернии распоряжения разные шлют: то семена не гожи—другими сеять велят из Москвы, Питера аль из заморских стран. Только сеять под пристрасткой заставляли сперва при волости... потом мужиков... Дед сказывал, сеяли... Ну, свои разбрасают... Хлебина вырастет, ишшо тебе море золотое, а ихной, бывало, и вовсе не зайдет, а то растет, так и не глядел бы на него. Известное дело, баре. Сидят в губернии да в Питере... и выдумляют. Гумаги учнут писать, семена шлют... Оно, можа, и правда в заморских краях той хлеб рос так, ишшо семена в колосу как бобы... Ну, а у нас, ишшо у мачехи, не дома... Мужичье наше ни в какую; не удалось раз, вдругорядь не заставишь. А тут илют гумагу: «Гките, бабы, на широких бердах медных». Оно к нови-то привыкать неловко сразу-то... Соберутся бабы на завалинке и тар-тар-тар: значит, ткать не будем... Потом гумагу шлют насчет картофии... Картофией тоды звали, а не картошкой, как ноне. А гумажка та грозная: «Сей да и только. Она-де хлебу замена».

47577

Ты вот с Витькой Ганчиковым дружишь, а его прадедушка был втупор волостным писарем. Сурьезной мужик был. Добром слова ни с кем не говаривал. Вызовет он, бывало, в волость, строчит-строчит мужика, аж пот прохватит. И все картофию садить напорствует. Уйдут мужики, и никак им невдомек: к чему такие строгости? Не к добру, думают, и где ее, эту картофию, взять? К чему все это? А тут еще странники к Долматову монастырю пробирались али обратно шли... Они, эти странники,—дотошный народ, во всех местах перебивают, известно, народ им вери. Ну вот, один старец мужикам и рассказал, будто был таков окаянный старец богоотступник. Задумал умирать. И



говорит, окаянный: «Когда помру, похороните на бугре». Сказал и тутюка, не сходя с места, помер... Его похоронили как сказывал, а на том бугре и вырасти дикая трава, коей на свете ишшо не было... картофия, значит. И будто про это все в библии прописано. Мужиков и баб страх одолел, и пошло: «Дьявольски яблоки, чортовы яблоки... Антихрист скоро придет... Бары все это заводят... Души-то свои они давно антихристу продали...»

А тут еще другой слух замешался. С Березова приехал Ванька Федоров, по прозванию Люсый, говорил: «Слых носится—все запроданы под барина». А приехал он к Андрюшке: «Не слыхивал ли в волости каких таких разговоров?» Андрюшка-то ему говорит: «Слыхать—не слыхивал, а читать—читывал что-то вроде этова». — «А што писано?» — «Не упомяну, што... Кака-та важная гумага за печатью от царя самого. Помешали мне ее дочитать-та... У головы таперя». — «А ты вспомни, Андрей Иванович», — упреждал его Люсый.

Ну, Андрюшка-то и сказал, ишшо будто там прописано, што все государственны какому-то помещику отдаются...

Как скажет он это—Люсый-то и смекнул, — он был толковый мужик, понаслышался от своего деда, коей был помещичьим, не мало. Упрашивать он стал Андрюшку: напиши да напиши на память той царской указ. А Андрюшка тот указ царской и настрочил. А Люсой собрал мужиков да и рассказал все. Тут и пошло.

Разослали гонцов по другим волостям... Было это по весне, снег уже стоял, грязища стояла... В слободу нашу Воскресенскую народу темным-темно понаехало, кто с дубьем, кто с палочьем, кто с серпом, кто с чем попало... Сперва подались в волость. Все гумаги передрали, перерыли—искали царскую грамоту. Писаришку схватили да на Миасс. Вода была люто холодная. Ну, все одно, связали писаришку веревками и давай купать. А тот кричит: — Помилуйте, братцы! Простите меня, грешного!

Ну, вытащат его:

— Сказывай, где-ка царева гумага!.. А-а, не знаешь? Ишшо, ребята!

И опять купают. Да так до смерти и закупали его. За других взялись... Вся бела косточка в ночки темные поудирала: кто в Челябину, кто в Шадринск, кто в Курган. А попрыжкий Лев не успел, так на колокольню забрался.

Сильно не любили этого попа. Хитрущий был ровно лиса. Дедынька сказывал про него: один ловил в Миассе шшук, много поймал. Вот стали бабы пороть рыбу, а внутри у одной мышонок попался. Ну, известно, бабы крестятся... Окаянная шшука... Что делать? Пошел рыбак к попу и говорит:

— Батюшко, батюшко, таки-де вот дела...

А он, хитрюга, глаза прижмурил и говорит тому рыбаку:

— Ну, рыбу тую есть нельзя. Погана она.

А рыбак говорит:

— Нельзя ль, батюшко, освятить ее?

Известно дело, рыбаку жаль шшук. Шшуки больши да жирны. А поп смеется:

— Што ты, што ты, разве в писании сказано, где рыб святить! Ты лучше оставь-ка их мне, я тута посмотрю их хорошенько, можа, каки еще дьявольски знаки найдутся.

Оставил рыбак. Вдругорядь пришел. У попа застолье. Пирогы шшучы... Спрашивать не стал... чего уж тут, коли поп дьявольскую рыбу ест!

Ну, ишшо дедынько сказывал про этого попа. Будто приходит поп с крестом в дом к мужику одному. Видит, ребята сидят да кашу едят.

— Где ваша мамка?—спросил он.

— Ушла,—говорят ребята.

Тоды поп к ребятам подсел и будто кашу поспытать хотел, взял ложку да и давай уминать. А ребятам каши жалко стало, ну и заорали: мать-то в голбце сидела и вылезла. Видит, поп кашу ест, и хоть и поп, она брякнула:

— У, бесстыжая рыжая рожа!

Так его Рыжиком-то и прозвали. Вот какой поп был. Ну, этот поп не успел удрать, дак на колокольную со старостой церковным забрался да там и просидел, пока войска не пришли.

А как спознали в губернии про смуту тую—казаков да солдат послали с пушками. Сам губернатор приехал. Уж штой-то по-смешному прозывал его дедынько: Обруч... Никак на наших-то мужиков и впрямь обруч набил. Был он из себя невидный, кругленький, как шарик, катится да покрикивает. Страсть, как этого Обруча боялись, даром что маленький. Как спознали, что казачье с пушками идут, в слободу, поди, мужиков тысяч десять со всей округи понасобиралось. У церкви на площади костры жгут, как на пашне... Ждут Обруча. А он с красноярской стороны

показался. Мир на поскотину вывалил. Солдаты да казачье на конях летят. А Обруч скомандовал из пушек стрелять. Как ахнут—человек пять намертво зашибли.

Ну тут бежать пустились, кто куда, а казачье в погоню. Мужики—в бор, в полевых избушках прячутся, кто в голбец забрался. За Боровлянкой в полдень пороть мужиков стали. Шибко пороли. Аж кожа отставала от мяса. В спинах занозы оставались. Вся деревня собралась смотреть страсти. Бабы, робятишки воем воют... А они хлещут и хлещут... кому двадцать пять, кому двести пятьдесят, а как добрались до Люсого да до Андрюшки, солдатье да казаков выстроили в двуредь один против одного, у каждого по палке. А промеж того ряда начали их водить. Водили-водили, они уж в бесчувствии попадали, их на тележку взвалили и бьют и бьют. А Обруч бегаёт около солдат да орёт:

— Чаво плохо бьёшь? Сам хопь получить? Бей шибше!

Водой потом обливали обоих. В памястье как пришли, их в цепи заковали да в челябинский острог увезли. Потом их судили и сослали на вечную каторгу в Сибирь. А когда казачье приехало, поп с колокольной слез. Да прямо к генералу-то списочек подал. Ну, порюг да в списочек заглянут. Ежели кто в списке у попа был, того пороли шибше.

Вот он гадюка какой был! А за эти его дела дали ему орден Владимира да ещё в Челябину благочинным назначили, а дитё его, будто, бесплатно учили—и все за то, што на колокольные просидел да народ выдавал...

Вот, робяты, каки дела-то были...

Вот она кака картофия-то!

8. ПРО ВОДОЛАЗОВ

Съехались к царю министры да сенаторы, митрополиты да генералы. Самое что ни на есть высшее начальство. Был тут и пермский губернатор.

За обедом у царя с министрами вышел разговор про картошку. Она тогда в новй была. Только-только разводить ее стали по деревням. Вот царь с министрами и разговаривал, как так устроить, чтобы мужик повсеместно картошку разводил. Картошка—хлебу замена, на случай голода большое подспорье. Вот и придумали написать от царского имени указ, чтобы в каждой волости не меньше

десятины было посажено картошки. Какие мужики сверх того пожелают посадить, так выдать семена за казенный счет, либо по самой низкой цене. А чтобы начальство больше старалось по этому делу, сговорились его наградами поманить. Царь так и заявил: в какой губернии окажется больше картошки, то мы губернатору самую высокую награду дать не пожалеем. Ну вот, ладно. Придумали это они, а пермский губернатор про себя другое смекнул, как бы ему царскую награду получить и всех других губернаторов обставить.

Он так рассудил: пермски, осински да охански при большой реке живут. Всякого пришлого народу у них много. Сфальшивить тут никак нельзя. Живое раскумекают, и конфуз может выйти. Екатеринбургски, тагильски, кунгурски — там опять заводов много — мастеровщина, народ дошлый, отчаянный, чуть что — могут бунт сделать. Чердынски, соликамски, верхотурски — и ладно бы, да земли у них мало и места холодные. А вот шадрински, камышовски да ирбитски — в самый раз для этого дела сгодятся. Земли у них хватит, живут на усторонье, грамотных, окромя попа да писаря, по всей волости не найдешь. Что угодно напиши, все сойдет.

Вот губернатор и надумал: в те уезды, — в наши-то, — вовсе царскую грамоту не допускать, а послать свою бумажку и в той бумаге по-другому прописать.

Так и сделал. Приехал домой и велел в наши уезды бумагу про картошку писать, чтоб сажали ее в обязательном порядке по осьминнику на двор. Чуешь? Там говорили — о десятине на волость, а он по осьминнику на двор! И чтоб семена свои были у каждого. А кто, дескать, не посадит, как приказано, тому тюрьма будет.

Ну, вычитали эту бумагу мужикам. Те только руками схлопали: как так? Откуль столь картошки на семена взять? Кто даст?

Оно и то смекнуть надо: это по нашим временам и то по осьминнику на двор никогда не посадишь, а тут где же! Картошка тогда в редкость была. У богатых мужиков и то ее маленько, а у бедняка только на поглядку.

Сумленье тут наших отцов и взяло. Не может того быть, чтобы такая бумага от царя была. Не иначе, писаря взятку вымогают, вычитывают вовсе несуряницу. Что делать? Пошли к попам — вы-де, грамотные, объясните. А попы,

видно, тоже приказанье получили от своего начальства, в ту же дуду дудят: «Садн, братня, картошку».

Старики наши, конечно, объясняют попам-то: «Не про то разговор—садить али не садить, а вот откуда семена взять на целый осьминник? Нет ли тут какой фальши в бумаге? Немысленное дело столько картошки на семена добыть!»

Попп знай свое твердят: садн да садн картошку,—себе польза, душе спасенье.

Тут старики наши вконец разобрались—подложная та бумага. Для верности пошлн к солдату одному. Он еще на француза ходил и все земли скрозь прошел. Вот и думают—этот разберет. Бутылку, конечно, на стол—научн, сделай милость. Солдат тот вовсе уж старенькой был. Однако водки хлебнул и обсказал дело, все то-есть приметы, по каким царскую бумагу узнать можно. Строчки, дескать, золоченные, печать орловая на шнурочке, подпнсь и все, что полагается. Да еще посоветовал: «Если,—говорнт,—попы не будут такую бумагу показывать, их испытать придется. Только это тоже умеючи делать надо. Бить, либо за волосы таскать их никак нельзя, потому у их—у попов-то—сан священной. Он тому препятствует. И надо, значит, их чистой водой испытать. Спускать, например, в колодец, а еще лучше прорубить в реке две прорубки да на вожжах из одной в другую и продергивать. Продернуть и спросить: «Фальшива бумага?» Ну, который отпирается, опять его продернуть. Покажут тогда!»

Нашим старикам эти речи справедливы показались. И то сказать, где картошки взять на осьминник! Вот старики наши сговорились по деревням, сграбастали своих попов и повели их к речкам правды искать. Ну, где речек нет, там по колодцам этим же занялись.

Вот с той поры у нас попов водолазами и зовут. Поучили их старики, как подо льдом нырять. Не всякий живой остался, захлебнулись некоторые.

Потом и наши отцы хлебнули горького до слез за эту учебу. Царь их отблагодарил. Нагнали солдат и давай почем зря пороть. Потом уж разбирать стали. Смутьянов все выискивали, да никого не нашли. Тогда и присудили каждого десятого скрозь строй прогонять. Многие от этой прогулки в доски ушлн. А губернатор, который всю эту штуку настрепал, он же мужиков и порол. Потому ему награду дали,—за усмиренье, значит. Вдолге уже распута-

ли дело, в чем тут загвоздка была и кто ей главная причина. Ну, тогда губернатора в сенат перевели, а попы про наших стариков сплетку сплели, будто они такие дураки были, что картошку садить грехом считали. Оно, может, в кержацких деревнях и говорили где про грехи, только наши отцы под заводами жили, табачок не то что, как ныне, покупали, а еще в обе ноздри набьют. С чего бы им картошки испугаться? Это уж так набрехано, чтобы дурость губернаторскую прикрыть. Не любили они этого, чтобы в дураках ходить. Вот и выдумали, будто старики по темноте картошку отвергали. Вовсе не так дело-то было.

Дразнить, однако, наших стариков поркой-то запретили. На это только ума и хватило у них, у начальства-то.

9. ИЗ РАССКАЗОВ СТАРИКОВ

Неизвестно откуда пошел слух, что всех государственных крестьян с их землей и имуществом будут передавать помещикам и что об этом уже есть распоряжения в волостных управах. Крестьяне решили отыскать такие грамоты и, вооруженные чем попало, стали толпами приходить к волостным старшинам и требовать грамоты. Так было и в Бродокалмаке.

Здесь старшина, как и в других местах, заявил, что никакой такой грамоты нет, потому и выдать ее не может. Такой ответ вызвал подозрение, что начальство что-то скрывает. И заодно скрывает это и духовенство.

Высшее начальство, узнав о начавшемся мятеже, высылает из Оренбурга в Бродокалмак отряд казаков. Но ввиду того, что к Багаряку сошлось много мятежников, отряд отошел.

После этого мятежники услышали, что со стороны Верх-Течи на них идет сам губернатор, и двинулись к Верх-Тече. Недалеко от нее, на речке Басказык, они стали против войск губернатора. Тот знал, что у крестьян нет огнестрельного оружия, и выслал своих людей с предложением о выдаче зачинщиков.

Мятежники воспротивились этому, говоря:

— Казаков не побоялись, а солдаты—наши братья и дети, воевать с нами не будут.

Тогда губернатор велел сперва выстрелить холостыми зарядами. Однако, мятежники еще более укрепились

в намерении сопротивляться. После этого губернатор велел стрелять картечью, и ряды крестьян сразу были расстрояны. Много было убитых и раненых.

После этого по селам стали разъезжать усмирители, хватать всех, кто только чуть был подозрителен. Много при этом было убито и покалечено казацкими нагайками и солдатскими шомполами. Многих угнали и сгноили в сибирских тюрьмах и рудниках.

В сорок во втором году был бунт-от. Чо затеяли старика: требовали как-то золоту строчку у писарей. Голову волостного продергивали по воде, по Солоданке, в водополье. Сымут все с его, на герзочку спущают да и «сказывай, — кричат, — где эти дела хранятся у вас?» Так старшина, которого топили, он опосля медаль получил.

Будто, как отдадут нас под барина, — к этому клонилось, видно.

Шел народ с разных сторон. С Миясу, говорят, были, с Камышлова. Бадагами, вилами, топорами дралися, кто чо схватит. Я от дедушки Федула слышал, так ножниццу посадил на бадог, вроде штыка и сделал.

Сперва татары были созваны, да пособиться-то ничо не могли: прибили их да в болото сбросили. Оно и теперь «Татарско» слово.

Опосля макаровский мужик, — медаль тоже получил, — привел солдат. Втапор-то и приклонились эти все, бунтовались-то кои. Когда пушку-то привезли и народ-от сдался, так двадцать тысяч бадагов на площадке-то осталось. Кои разбежались, а коих поймали, — да шибко бунтовались, дак в Сибирь ссылали, по закону по Красноярской губернии были ссыланы.

Харловы вот там и изжили. Наш дедушко выборным был, так его скрозь строй водили: с того боку, с другого боку раз, да вдругоредь раз пять, говорят, проводили. На спине тело-то титьками даже образовалось.

Дядя Роман тоже был наказан сколько-то.

Плети таки были, вроде казацки, ишшо из проволоки.

Пушку привозили, сказывают. Тутова на площадке, тутока собрание народа было, — и поставили. Выстрелу-то не дали.

Отсуда — в Галькину, верст шестьдесят будет. Тамо, сказывают, с добра мужики не приклонились. Сперва буд-

то из холостого дали, а оне пуише полезли. А потом будто вдругоредь по-настоящему пальнули да кромочкой народ-от и прихватили,—тоже и приклонились.

А дьякон Ионин говорил: «Какой это бунт? Вот впередет-то будет бунт дак бунт!»

Баушка,—она умерла ста пяти лет,—рассказывала, как мужики бунтовались. Требовали от попов и писарей какую-то золотую строчку и заудельные книги. Прошел слух: что опять сделают мужиков барскими, а только царь против этого,—он-де издал какой-то указ, написанный золотыми буквами. Вот эту-то золотую строчку и требовали.

Была ли она, эта строчка,—неизвестно, только хватали попов и писарей, делали на реке проруби, привязывали попов на веревки и протаскивали от одной проруби до другой, чтобы только сознавались, куда дели золотую строчку. Это было не в одном только Колчедане, а и во многих селах. Ну, конечно, многие попы от этого поумирали.

От стариков чули, волнение было в мире, недоверье было в мире. Каки-то дела все у начальства расспрашивали, красны строчки каки-то искали. На волости нападали, попов таскали, оне в серквах запиралися. Натачивали, говорят, копыя, к войне готовилися.

— Молотим,—говорят,—а досада катится.

Приходили, говорят, с течи мужики, здешних сбивали. Будто, как слыхи ходили, начальство заставляло картошь садить, под барины подбивали, а барину, верно, патоки охота была. Картошку-то раньше «бынтовавшейся» звали.

После бунта-то много садили в замок, потом осудили их, скрозь строй водили. В Батуриной от девяти десятого стегали по указанию начальства. Пушки привозили,—чуешь?

Солдаты приезжали. Застегивали досмерти. Англих Егорович Черноскулов рукава съел, пока стегали. Выдюжили.

10. ЭШАФОТ

Дед тогда мальчишкой был. Много в то время было разных наказаний! И шпидпрутенами наказывали, и сквозь строй гоняли, и палками били, и на эшафоте наказывали.

Бывало это утром больше. Враз слышат—барабан где-то на улице дробь выбивает. Народ валит на базарную площадь. А по дороге тащится карета, длинная, с помостом, черным цветом окрашена. Целая тройка лошадей везет ее. На помосте стоит сам преступник, кланяется на все стороны и кричит: «Простите, народ православный!», а по бокам солдаты идут с ружьями, и барабанщик дробь выбивает.

Вот раз едет такая карета. Кругом крик, шум, плач: «Везут! Везут!.. Нагаева везут!..»—«А за что будут наказывать-то?»—«Читай, вон на доске сверху написано: «за скрытие золота!» Сказывали, что дочь у этого Нагаева девочкой еще была, одна-единственная. Летом ягоды за огородом собирали с подругами. Напали киргизы, взяли в плен ее, а потом проводили в орду и продали бухарцам. Нагаев долго ее искал и золотишко все прикапливал, чтобы выкупить ее. Ездил в орду, нашел дочку, только ничего не вышло, она уже большая выросла и замужем за бухарцем была и по-нашему говорить забыла. Ну вот, золотишко-то у него и осталось. А раньше строго за этим наблюдали, чтобы никто золота при себе не держал, а в казну сдавал. Закон такой был. Кто-то, должно быть, донес, что золото у него есть,—ну, сделали обыск, нашли, судили и присудили дать ему на эшафоте шестьдесят плетей.

Прибежал это дед за каретой на базарную площадь, а там народу тьма-тьмущая. Помост стоит и на помосте столб в сажень вышиною. Палач расхаживает, без куртка, в красной рубаше, расстегнутой жилетке, и фуражка набекрень. Рожа у этого палача пьяная. Говорили, что в каторге он был за то, что жене своей отрубил голову. Ходит и плетью стремяременными хвостами расправляет. Вышел на помост и приказный с бумагой. Дали сигнал, чтобы смолкли все. Тихо стало, только слышно, как бабы всхлипывают да малые дети плачут.

Приказный стал громко зачитывать бумагу: по указу его императорского величества наказуется за то и за то, и по статьей какой и сколько плетей,—все вычитал!

Пон дал Нагаеву поцеловать крестик, а потом подвел его лицом к столбу, а палач сейчас загнул ему рубаху на плечи, привязал руки за перекладину, спустил ему штаны до колен и опутал веревкой, только ноги упирались на пол. Потом взмахнул плетью и закричал: «Держись, ворона, сокол летит!» А надзиратель «Раз!»—отсчитывает. «Держись,

ворона, сокол летит!»—«Два!»—опять кричит надзиратель. И пошло, и пошло... Нагаев-то сперва вавизгнул от боли, а потом плачет, кричит: «Поощадите... простите!..», а потом мычать стал и захрипел. Тела из-за рубцов не видать стало, посинело, и кожа стала лопаться. Палач сбоку стоит и хлещет поперек, а потом перейдет на другую сторону. Водой отольют и опять: «Держись, ворона, сокол летит!..» Наконец, подошло и шестьдесят. Отвязали Нагаева и положили на телегу, а он уже не шелохнется, только губами чавкает, как рыба. Прикрыли рогожей и повезли куда-то. Стал народ на рогожу деньги бросать, все больше медяки, а палач все себе забрал. Стал расходиться народ. А ведь как живуч-то человек!.. После дед Нагаева-то видал, стариком уже он был на вид, лицом желтый такой, худой и как бы сам не свой, ходит и тихо что-то бормочет про себя, вроде помешанный.

Да, уж было времячко, будь оно проклято!

41. ПИМЕНОВА ПЛОТИНА

По Маукскому тракту, верстах в шести от нашего завода, озеро есть. Одно оно было раньше. Теперь их два. Раньше это озеро называлось Кириты. А теперь называется: одно—Коросельское, а другое—Кириты. По середине их плотина. Раньше плотины этой не было. В объезд обозы ездили. В Уфалей ли проехать, или в Маук, к избушкам, где уголь точили да дрова рубили, или в Ураим,—все надо было объезжать это озеро Кириты. Неудобство было. Долго ехать надо было.

Демидовский управитель задумал плотину построить через озеро. А четверть версты надо плотинить. Согнали крепостных крестьян, с лошадьми, с тележками согнали народ. Народ песок возит, плотину насыпает. Скоро уж работе конец. Немного уже осталось песку сыпать.

Только однажды крестьянин Пимен на работу не выехал. День не выехал и два не выехал. По своим делам для хозяйства своего отлучился. А разрешения не взял у управителя. Не просил. Зря было просить,—все равно управитель не дал бы. Первый день прошел хорошо. Управитель не заметил, что Пимен на работу не вышел, а на второй день спохватился, что Пимена нет, и объявил его в бегах. Розыск объявил.

А на третий день Пимен сам на работе объявился. С лошастью, с тележкой объявился и опять возит песок.

Довозил до полудня. Видит: управитель идет. Пимен шапочку скинул, поклонился. Управитель прошел мимо.

Свалил Пимен песок с тележки и опять уехал. А управитель походил возле рабочих и пятерых, которые поздоровее, в сторонку отвел. Там объявляет им:

— Над Пименом суд состоялся. Суд постановил за то, что он в бега ушел, закопать его живьем в плотину. Как вечер подойдет, привезет Пимен последнюю тележку с песком,—суд вам приказал, чтобы вы столкнули Пимена в канаву и песочком его присыпали.

Управитель ушел. А эти пятеро стоят. Что тут делать? Воле господской перечить нельзя. Против судебного решения человек итти не может. Стоят эти пятеро, и лошади возле них стоят. Не возят они песок. Даже из тележек его не высыпали. А управитель им ни слова. Достояли они до вечера. За день-то Пимен не один раз песок привозил да в канаву сваливал.

Вот подошел вечер. Солнышко закатывается. Вода в озере темная стала. Только стеблинки камыша светлые стоят. Много крестьян уже на ночевку поехали.

Привез Пимен последнюю свою в жизни тележку. Свалить хочет. Тут на него набросились эти пятеро. Стокнули его в канаву. Прямо в камыши. А сверху песочком присыпали. Сначала свои пять тележек высыпали, а потом лопатами прикидывать стали. Пальчики последними засыпали.

С тех пор эта плотина и зовется «Пименова плотина».

12. ЧЕЛОВИТНАЯ

Тяжело жилось рабочим на приисках, которые были возле Каслей. А присков было много: Вышнегорский, Хмелевский, Петровские...

Жил-был на этих приисках управитель. Теперь-то уж забыли его прозвище. Но помнят—лютый был человек. Рабского к себе требовал повиновения. Который рабочий идет мимо дома управителя и перед домом шапочки с головы не смахнет,—значит, тому рабочему плети. Порка. А который слово где молвит, не угодное управителю или

штейгеру,—значит, смерть. Без суда, без следствия, без присяжных заседателей,—убьют и закопают.

Много таких-то вот могил самочинных было по приискам.

И вот на этих приисках жил рабочий Коротков. Терпел он, терпел, не раз поротый ходил, а потом мочи терпеть не стало. К этому времени по уральским местам наследник царского престола, будущий царь Александр Второй проезжал. Вот тут Коротков решил подать ему челобитную. Напишу, мол, про все дела и передам наследнику.

Об этом его желании узнали управитель и штейгеры. Послали они стражников за Коротковым и забрали его. В подтюремок посадили его. Только Коротков сбежал оттуда. А как побег обнаружили, стали искать беглого. Все Касли оцепили солдатами, и ну искать. Три дня искали—не нашли.

Тут под Каслями есть озеро Куташи. Камышевое озеро. Вот в этом озере и лежал три дня Коротков. В камышах, в воде лежал. Будто рыба. Через соломинку-камыш дышал. Когда оцепление сняли, Коротков вышел ночью из озера. На тракт Кыштымский пробрался. Тракт шел через Речью. Там Коротков встретил возчиков. Они изюм везли. Встретил их и попросил, чтоб довели. Рассказал им, что беглый. Они его среди ящиков спрятали. Довезли до Кыштыма. Там он добился толку и подал наследнику челобитную.

Тут сейчас же государственные люди учредили комиссию. Комиссия поехала с Коротковым на прииска. Ходит Коротков и комиссии указывает, где трупы зарыты убиенных да замученных. Копнут рабочие заступом раз, другой—в труп тут как тут. Много таких могил вскрыли.

После того управителя и штейгеров, повинных в истязаниях да убийствах, посадили в закрытую коляску и увезли. Куда—неизвестно. Что с ними стало—неведомо.

Верно, убийств стало после того случая поменьше. Да только радости от этого не было. Рабочему люду жить стало еще тяжелей, чем прежде. Новый управитель да новые штейгеры так докучали рабочим непосильными уроками, что краше да легче было в гробу лежать, чем на тех работать. А порка все равно осталась...

Не помогла Короткову челобитная.

Как умер Коротков, неизвестно. Об этом вестей нет. Без славы умер.

13. «НА ВОЛЮ ВЫЙДЕМ, ДА В НЕВОЛЕ ЖИТЬ БУДЕМ»

Я, знаешь ли, в крепостное право сама рóбила. Лето-от восемь-девять мне было. Приду, бывало, к отцу, отец, знаешь, на руднике в Полевском рóбил. Я есть отцу принесу. Господин управитель придет, кричит:

— Девочка, коней погоняй!

Там, знаешь, кони круг крутили, а круг бадьи поднимал. Вот я говорю господину управителю:

— Могу, только на круг мне не залезти...

Он возьмет меня на руки и посадит. Я гоняю, весь день гоняю, а как вечер придет, он кричит:

— Тебе, девочка, смена пришла...

Слезу с круга, а он даст один пряник.

А потом, помню, ночью,—я уж девкой была,—отец пришел да мать будит. Отец говорит:

— Говори «слава богу».

А мать говорит:

— Ну...

— Говори «слава богу».

— Не скажу...

— Говори, а то бить буду...

Ну, мать тогда говорит:

— Ну, слава богу.

А отец говорит.

— Завтра на волю выйдем...

А мать говорит:

— На волю выйдем, да в неволе жить будем...

А наутро колокола звонили. Отпустили на волю.

14. ОБУШНИКИ

Издавна верхневянских жителей зовут обушниками. А это не спроста так, взяли да и назвали,—нет, все поделом.

Было это, когда людей в крепости держали. На заводе тогда управителем был Зотов—ох, и сволочь же был! на свете другой не сыскать. Бывало, ночь на дворе, а он гонит людей на работу. Ноги в могиле висят, а иди на завод, сдох—туда и дорога,—ему не жалко. Бил заводских Зотов кияшкой, набитой песком, таскал за волосы, как мужик бабу таскал. Ни с чем не считался, хоть пропадай пропадом

в кричине, из койки вылазть. Кто посильней маленько, мужики, скажем, выдувались, а бабы вот, да еще беременные,—тем могила. Люди говорили, что у него заместо сердца—кусок чугуна.

Видит это он, что баба плохо руду таскает в подоле на пожок,—ну, ясное дело, устала, сил-то мало,—или какой рабочий от работы мертвяком идет, еле ноги волочит, а Зотов набросится да давай хлестать кишкой—до смерти захлещет,—как все равно скот какой. На Зотова некуда было и пожаловаться, начальства он над собой не чувствовал, а все потому, что у его то ли брат, то ли родич какой был управителем Верх-Исетского округа, так что Зотов на заводе был сам бог и царь.

Ежели каждый день понужать да за волосы таскать,—тут уж добра не ждать, как говорится; какой свет, такая тень; остра коса, когда чиста трава, а если там попался камень, то уже обязательно тупой станет.

На заводе рббил в кричине парняга один, добряк большой, Пузанов. Хоть давно все случилось, а люди все помнят его, был работяга большой. Зотову ни разу не отколосось постегать его, а всегда волком косил глаза на него, видно, уж по духу чуял неладное.

А тогда редко у кого из мастеровых морда не бита была, все поспытали Зотову плетку. Вот мой прадед, тот перед Зотовым петухом кричал, тому это шибко нравилось. Зайдет Зотов в кузницу—прадед кузнецом рббил—и скажет ему: «Ну, Сарафанов, покажи петуха». Сейчас мой прадед бросит ковать, похлопает в ладоши, вроде петух крыльями, да прыг на наковальню и затынет: ку-ка-ре-ку!

Зотов усмехнется и пойдет.

Прямо замучил всех Зотов, не одного вогнал в гроб. Раз Пузанов пришел на завод. Вечер уже был, и порешил он убить Зотова—видно, сердце больше не стерпело. Сел с топором за дверью склада, ждет-поджидает покуль светать начнет. Зотов проходил в завод с солнцем. Идет это, как всегда, со своей проклятой кишкой, тут его у склада и встретил с топором Пузанов,—видно, все наперед обдумано было,—и ударил обухом топора по черепу прямо.

Сильный парень, ударил крепко; Зотов упал. Наклонился Пузанов, видит, что больше Зотову не подняться.

Люди, известно, сбежались, а Пузанов и говорит:

— Ну, теперь вяжите меня, я его, сводочу, угробил. Что он искал, то и нашел.

Вот с тех пор нас, верхневинских, зовут обушниками, от слова «обух».

15. МОРДОВОЙ ШМАКОВ

Зверь был Шмаков. «Ожидаешь Шмакова,—замирает в человеке кровь, а потом все дело совершится: либо побьет, либо нет. Тем и кончает». Это говорили забойщики.

А откатчики: «Беда попасть навстречу Шмакову. Он бьет наотмашь направо и налево. Что дашь дорогу—бьет, что не дашь дорогу—бьет.

Которого лупит да тот стерпит, потом подарок ему подносит:

— На тебе, стерва, за то, что переносил.

А который не переносил, тем половину бороды—да в солдаты.

Идешь в забой, не имеешь права оглянуться.

А кто при его приходе стоит, не работает, того не трогает, а на заметку держит. Как пришла пора сдавать в солдаты, сам с ним едет в Верхотурье, а вернется:

— Ну, теперь всех варваров сдал.

А которых не примут, говорит:

— Ну, этого шельму и туда не надо».

16. КУЗНЕЦ И ЧОРТ

Вот раз вытолкали кузнеца из кабака: «Иди, чертяка страхолютый!»

Пошел кузнец по улице, идет и думает себе: «Хоть я не чорт, а со всем удовольствием согласен быть чортом и в аду жить. А вот пусть чорт на моем месте поживет. Узнает, как мы-то живем».

А чорт—известно чорт. О нем скажешь, а он тут как тут. Услыхал, как кузнец чертыхается, заинтересовался этим делом, думает: «Постой, друг, ты, видать, не знаешь моего жития, вот я поведу тебя в ад, будешь помнить».

Подходит чорт к кузнецу и говорит:

— Здоров, кузнец! Я тебя давно хотел видеть.

— А ты кто такой?—спрашивает кузнец.

Чорт покрутил хвостиком, подмигнул глазком и говорит:

— Не узнаешь, что ли? Ты ж со мной меняться хотел. Вот я сам чорт и есть.

Кузнецу что—чорт так чорт! Не любил кузнец словам долго распускаться и говорит:

— Давай меняться: я к тебе пойду—в ад то-есть, а ты ко мне в кричню. У тебя лучше.

Чорт говорит:

— Ты в аду не бывал, смерти не видал, потому так и говоришь.

Одно слово: чорт свое, кузнец свое.

Тут чорт за попереченство осерчал на кузнеца и поволок его в ад: показывать мучеников да грешников, которые в котлах смоляных варятся.

Пришли в ад. Чорт повел кузнеца по геенне огненной, показывает ему все, сам думает, что кузнец устрашится и назад вернется, а кузнец идет, ему хоть бы что, как дома чувствует себя. «Кому ад, а мне—рай»,—говорит.

Ходили, ходили, чорт и спрашивает кузнеца:

— Ну, как, страшно? Видишь грешников, как они живут—в котлах смоляных кипят!

Тут кузнец осерчал да говорит чорту:

— Иди ты к своей матери—к чортовой, значит, не морочь мне голову! Пойдем, я тебе покажу ад,—дело верное, а то напрасно тратим время, а толку нет никакого.

Поташил чорта кузнец к кричне. Вот приходят. Идут по кричне, а в ней ночь черна от пыли да от сажки, сто горнов горят, четыреста молотов стучат. Рабочие ходят, рожи у них, как полагается,—нет кожи на роже.

Кузнец идет впереди, чорт позади. Тут начали сажать крицу и мастеру на лопате подавать, искры посыпались из глаз, чорт уж и дышать не может.

Тут и случись беда: кузнеца увидал хозяин и закричи:

— Ты что, чорт, расхаживаешь без дела? Морду твою побью!

А чорт испугался, спрашивает кузнеца:

— А что он тут делает? А?

— Морды всем бить хочет и тебе побьет,—сказал кузнец, а сам хотел глянуть на чорта. Только это покосили через плечо глаз, чорт уже повернулся уходить.

Тут кузнец говорит чорту:

— Куда ты, чорт? Это еще не все—ты хоть погляди, как

хозяин с нами-то расправляться будет. Научись,—говорит,—с грешниками в аду обращаться.

— Нет,—говорит чорт, крутнул хвостиком, и только его и видели.

А кузнец долго помнил, как чорта в кричню водил, и с чертами язык распускать закалялся.

17. О МОЛОТОВОЙЦЕ И ЧОРТЕ

В Билимбае на заводе рѣбил тот человек, о нем буду речь вести. Посмотреть на него—немудрячий такой, а самый лучший мастер был. Где он только не побывал: и коло домы рѣбил, и в кричне у молота стоял. Лучше его никто крицу не ухватит; и чудное дело—огневик был, а на лице у него пятышка одного не было. Не иначе, с чортом знался. Так люди говорили.

Потом ушел с завода—отпустили его. Опять неладно это дело. Человек он был в соку, неизробленной, а отпустили. Нечисто дело. И что бы вы думали! Золотишком занялся, местечко богатое нашел—где, не сказывал; вернулся,—опять на работу пошел. Домишко себе выстроил—хороший, в два верха. С женой ладно, хорошо жил. Сын у него был, кузнецом на заводе рѣбил. Здоровый такой, веселый, в драках первый человек. Отца рабочие не любили, а за сына стояли, когда надо, и от начальства укроют. Сын полштофку или косушечку выпить непрочь, а отец—ни-ни, и в кабак не ходил. А чтобы когда чорта помянуть—это боже упаси. Чудной такой. Ему кто скажет: «Иди к чортовой матери», а он: «Рад бы пойти, да не принимает она меня. Это женщина благородная».

Дело уже к старости стало, поставили старика к водосливному молоту. Стали люди примечать. В праздник закроет колесо, а молот сам ходит. Известно, «он» за него рѣбил. Оно и вышло.

Старик в новом доме, что на золотишко построил, чертяку на стенке намалевал, как есть настоящий: рожки маленькие и копытца на ногах, хвостик—все как полагается. И каждый раз, как итти тому мастеру на работу, собирает он струмент весь и не забудет, к чорту подойдет—к тому, что на стенке,—поклонится и молотом помашет. Так шло и шло.

Только это старик ослаб вовсе, зовет сына и говорит ему:

— Видно, умирать мне времячко пришло—так вот, сын мой любезный, много тебе сказать—не скажу, одно только прошу: как умру я, не забывай, перед тем как на работу идти, поклониться чорту-батюшке и молотом перед ним помахать. Без этого тебе в жизни никакой удачи не будет.

Сын видит—старик уже отходить стал. Хотел уважить старика, пообещал ему не забывать чорта.

Старик с тем и помер.

С той поры, как идет сын мастера-то на работу, возьмет инструмент, пройдет мимо чертяки и молотом его по роже раз ударит, два ударит и пойдет. Так местечко-то на стенке и отбивалось раз за разом. Одним днем треснул он чертяку на стенке молотом, стена в том месте и провалилась—на месте патрета-то. Из дыры чорт вышел.

— Так и так,—говорит,—за что ты мукой мучаешь? Уважения не оказываешь? Я тебе за это удачи не дам. Будешь ты век горевать.

А мастер смеется над чортом:

— Ничего ты,—говорит,—не можешь. Враки все это.

Чорт ему свое—он свое. Так и поспорили.

— Чем спорить,—говорит мастер,—сделай то, чего я сделать не умею, тогда поверю. Видишь, вон там старуха с бадожком ковыляет? Сделай так, чтоб она как молоденькая побежала.

Чорт сейчас. Готов. Давай траву собирать, варево варить, старуху поить и так и дале.

Старуха выпила да руками как схлопает, бадожок в сторонку швырнула и побегла. Чорт радуется:

— Ну, что—веришь теперь, что я все могу?

Мастер головой покачал.

— Это она от варева твоего побегла. И я такое сотворить могу. Напою тебя—и ты побежишь. Даром что не хочешь. А ты вот сделай так, чтобы наш кабатчик ко мне кланяться пришел да кусок хлеба просить стал.

Чорт не дослушал и побегал. Утречком, только вышел мастер на улицу, а ему говорят, что кабатчик совсем зиницал: все как есть у него пропало—добро-то. Обчистили хозяина. У него в кабаке драка завелась, мура такая заварились, что не приведи господь. Пока он туды-суды бегал да начальство созывал, его так почистили, что только стены голые остались. Все унесли. А кто—неведомо, не дознались.

Рассмеялся мастер и говорит чорту:

— Ты мне голову не дури, драться и я мастер не последний, а обчистить такую подлюку много охотников. Такое чудо и я сделать могу—п без тебя, чертяки. Вот ты нашего хозяина-то, заводчика, значит, билимбаевского, человеком сделай—вот тогда поверю.

Поскучил чорт, заскулил, побежал. Долго это возле хозяйского дома крутился, все чертячьи фокусы попробовал—не вышло. Вернулся к мастеру,—хвостик опустил.

—Нет,—говорит,—что хочешь сделаю, а хозяина вашего человеком сделать не могу.

Так и ушел.

48. ДОРОГОЕ ИМЯЧКО

Это еще в те годы было, когда тут стары люди жили. На том, значит, пласту поддерново золото теперь находят.

Золота этого... кразелитов...меди... полно было. Бери, сколько хочешь. Ну, только стары люди к этому не свышны были. На што им? Кразелитами хоть ребятишки играли, а в золоте никто и вовсе толку не знал. Крупинки желтеиьки да песок, а куда их? Самородок фунтов несколько, а то и полпуда лежит, например, на тропке, и никто его не подбират. А кому помешат, так тот его сопнет в сторонку—только и заботы. А то еще такая, слышь-ко, мода была. Собираются на охоту и наберут с собою этих самородков. Они, слышь, маленькие, а увесистые. В руках держать ловко, и бьют ёмко. Присадит таким, так большого зверя собьет. Очень просто. Оттого нынче и находят самородки в таких местах, где бы вовсе ровно золоту быть не должно. А это стары люди разбросали, где пришлось.

Медь самородну, ту добывали маленько. Топоры, слышь-ко, из нее делали, орудия разную. Ложки-поварешки, всяку домашность тоже. Гумешки-то нам от старых людей достались. Только, конечно, шахты никакой не били, сверху брали, не как в понешнее время.

Долго ли, коротко так жили. Зверя добывали, птицу, рыбу ловили, тем и питались. Пчелы дикой множина была. Меду сколько добудешь, а хлеба и званья не было. Скотину—лошадей, напримерно, коров, овцу—не водили. Понятия такого у них не было.

Были они не русьски и не татара, а какой веры-обычай и как прозывались, про то никто не знает. Чудь, што ли...

Только опять та в землю ушла, а эти нет, по лесам жили. Одним словом—старые люди.

Домишек у них либо озаведенья какого—ба́нешек там, погребушек—ничего такого и в заводе не было. В горах жили. В Думной горе пещера есть. С реки ход-от был. Теперь его не видно—соком завалили. Поди, сажен уж на десять. А самоглавная пещера в Азов-горе была. Огромнейшая,—под всю гору шла. Теперь ход-от есть, только обвалился будто маленько. Ну, там дело тайное. Об этом и сказ будет.

Вот живут себе старые люди, никого не задевают, себя сильно не оказывают. Только стали по этим местам другие народы проявляться. Сперва татары мимо заездила: по подгорью от Думной горы к Азов-горе тропу протоптали. С полдня на полночь, как из ору́жья стрéлено. Теперь этой тропы не знатко, а старики от дедов своих слышали, будто ране-то видно было. Широкая, слышь-ко, тропа была, чисто тракт какой, без канав только.

Ну ездят и ездят татары. Торговлишку завели. В одну сторону одни товары везли, в другую—други, а насчет золота ничего, видно, сами не толкуют, либо случая такого не подошло. Старые люди сперва прихоронились. Потом видят—никто их не задевает, стали жить потихоньку. Птицу—рыбу полавливают, золотыми камнями зверя глущат, медными топорами добивают.

Вдруг татары что-то сильно закопошились. Целыми утугами на помощь пошли, а все с копиями, с саблями, как на войну. Мало спустя обратно побежали. Гонят, свету не видят. А это Ермак с казаками на Сибирь пришел и всех тамошних татар побил. Которые пособлять своим приходили, и тех до смерти перепугал—как дело тогда внове было из ружья стрелять. Татары этой стрельбы и заболзались.

Недолго после того появились в здешних местах русские казаки, то-есть ермаковски. Небольша ватажка, пеши пришли. Эти сразу золото сметили. Хватовщина пошла, чуть до смертоубийства не дошло. Потом образумились, видят—золота много, с собой не унесешь. Что делать? Туда-сюда зачали соваться. Нет ли где жила близко, чтобы там лошадей добыть. И набежали так-то на старых людей. Сейчас, конечно:

— Что за народ? Какой веры-племени? Какому царю яса́к даешь?

Казаки, слышь-ко, ране вольные были, а на Сибирь они уже проданные пришли. Купцам продалися, а царь их вовсе задарил. Набольшому — Ермаку-то — свою, слышь, серебряну-рубаху царь послал. Так Ермак той рубахи с себя не сымал. Гордился, значит. Так и утоп в ей — в царском-то подаренье. Вишь, до чего глупость-то наша доводит. А говорят, вовсе хороший мужик был. Умный и твердый такой, а на ласку и подался. Другие казачишки и вовсе разбаловались на новых местах. Народ покоренный сильно перепуганный был, казаки и давай хозяйевать, как кому любо. Возьмут, кого им надо, за горло — подавай того, другого. Баб хватают, девчонок, вовсе подлеток, и протча. Одним словом, баловство развели хуже некуда... Не лучше царских приставников. О том и думать забыли, кем раньше были. Как есть изварначились.

Вот и эта ватажка стала так-то наступать на старых людей. Те им свое маячат. Дескать, ваша нам не нужна, наша вам не мешат. Проходите мимо. Казачишки опять на испуг берут. Из оружия пальнули. Стары люди испугались, в гору побежали. Казачишки за ими, думают, так и есть — победили, а не тут-то было. Стары люди сильно смелые были. Это они сперва только испугались. Думали, огонь, например, с неба. Ну, потом отошли. И здоровые были — куда нашим, русским-то! В полтора раза, может, больше. Добежали, значит, до пещеры — своей да как начали казачишек золотыми камнями пушить, знай держись. Чуть не всех заколотили, казаков-то. Двое, либо трое все-таки убежало. А стары люди и гнаться за ими не думали. Утурили и ладно. Пушай-де идут куда им надо, лишь бы к нам больше не лезли.

Подивились на убитых, что у них нахватаю у каждого желтых камешков через число. Как только танцили эку тигость! А того не смекнули, на что им камни. По-своему думали, что тоже для бою набрали. Осмотрели оружие убитых, а одно оказалось заряжено. Вот один из старых людей вертел-вертел оружие-то, копался-копался, оно и пальнуло. Сполоху наделало, самого маленько ушибло, а никого не убило. Тут стары люди и домекнули, что это не с неба огонь. Стали доходить как бы еще пальнуть. Оснимали мертвых, все перещупали, обсмотрели, обнюхали. Порох нашли, свинец рубленый, а что к чему, так и не добрались.

А те трое-то, которые убежали, вышли-таки к своим. Обсказали своему начальнику. Напали, дескать, на нас незнанные люди и чуть не всех побили. Трое вот только и выбежали. Начальник,—может, он пьяный был,—ладно, говорит. Ну, конечно, военное Сибирь-покоренье-то. Мало ли всяких случаев было! Побили и побили. На том дело и заглохло.

А про золото те не сказали. Думают, так и есть—погуляем, потешимся. Только золото оно и золото. Хоть веско, а само кверху лезет. Его, вишь, первым делом разменять требуется. Тут они оха и поймали. Хватали самородки покрупнее, а как с таким объявись? Сейчас спросы-расспросы: где взял? Догадались все-таки. Раскрошили самородки на мелочь да и понесли купцам продавать. А уж таиться стали один от другого! Известно, золото. Один к одному купцу пришел, другой к этому же и третий тоже. Да так всех купцов и обошли. Купцы, конечно, с полным нашим удовольствием. Деньги, значит, дают, а сами примечают. Денег наменяли—куда их? Оделись перво-наперво, как только кто удумал, милашек завели и занялись пьянством да гулянкой. Из кабака, например, не выходят и кого дохода поят. Ну, и другим казакам стало подозрительно—откуда у людей такие деньги? Стали дознаваться, а у пьяных долго ли? Вывели все до тонкости и тоже ватажку сбивать стали. За золотом, значит, сходить.

Не все, конечно, казаки одинаковы были. Один,—не знаю, как его звать-величать,—из Соликамска, слышь, к ним пристал. Пошел в Сибирь за хорошей жизнью, а видит, тут грабеж да пьянство, да распутство—и отшатился от казаков, услышал, что опять собираются грабить, и стал их совестить: «Как вот, дескать, не стыдно! Раньше купцов да бояр облегал, а теперь несчастных народов, которые тут живут, грабите да купцам же барыш даете?» Тем, конечно, не по носу табак, а как все оборудованные, то сейчас у них свалка пошла с саблями и другой оружейной. Ну, соликамской-то этот парень проворной был, удалой. Ото всех отбился, только сильно его изранили. Он в лес убраделся, чтобы его не нашли. Леса страшные были, где найдешь! Побегали-побегали казачишки, пошумели и разошлись один по одному, а тот, раненый-то, думает, как дальше быть. Показаться в жиле—наверняка убьют, а то и под палача подведут за разговор-от. Вот и придумал: «Пойду

к тем людям, которых грабить собираются, упрежу их». Дорогу он понял, куда, то-есть, идти собирались. Путь все-таки не ближняя, а запасу у него, например, никакого. Отощал в дороге, да еще и раны донимают. Еле идет. Полежит-полежит и опять плетется. У самой Азов-горы—вон у того места—совсем свалился.

Увидали стары люди—чужестранный человек лежит, весь кровью измазанный, и оружье с им. А бабы набежали первые-то. Баба, известно, у всякого народа жалостливее и за раненым ходить любит. Тут еще девка случилась, ихнего старшины дочь. Смелая такая, расторопная, хоть штаны на такую надевай, и красивая—страсть. Глаза—как угольки, щека—как розан расцвел, коса до пяток и вся протча в полном акурате. Лучше нельзя. Плясать первая мастерица, а ежели песню заведет с переливами,—ну, одним словом, люботá. Одно плохо—сильно большая была. Прямо сказать, великанша. И как раз девка на выданье была. Восемнадцатый год доходил. Самая, значит, пора. Ну, ей и приглянулся, видно, пришлый-то. А он тоже по-нашему мужик рослый был. Из себя чистый, волосом кудрявый, глаза открытые. Ей и любопытно стало. Пока другие бабы охали да ахали, эта девка сгребла раненого в охапку, притащила в пещеру, на свою постелю, и давай за ним ходить. Водой там смачивать, раны перевязывать. Отец-мать ничего, будто так и надо. Другие суседи, которые рядом жили, тоже помалкивают и помогают, подают того, другого. Бабам, вишь, жалко, а у мужиков свое на уме. Не научили, как огонь пущать. Очень к этому любопытствовали.

Раненый мало-по-малу оклемался. Видит, каки-то вовсе неизвестные люди. Рослые против наших и по-татарски бельмень. Сам-от он мараковал маленько по-татарски. На то и надеялся, когда шел в эти места. Ну, делать нечего, стал маяками дознаваться, как и что они прозывают. Учиться, вначит, стал по-ихнему. А девка от него не отходит, прямо прилипла. И он тоже человек молодой, к ней тянется. Поправа, однако, плохо идет. Главная причина—хлебушка у них не было. Припашет это ему девка пицци самолучшей. Рыбу, мяса наставит, меду, чашу вскрай полнехоньку, а его с души воротит. Ему бы хоть яшничка ломоток. Просит у пей, а она не понимает, какой есть хлеб. Заплачет даже. Это она-то. Известно, русьскому человеку без хлебушка невозможно. Кака уж тут поправа! Ну, все-таки ходить стал в разговору мало-мало обык, а девка обратно от него руге-

ський разговор переняла, да так скоро, что просто удивление. Такая уж удачливая была и, видать, не простая. Тайная сила в ей была.

Стал это он, Соликамской-от, ходить. Оглядел всю местность, показал, как с оружием поступать, и весь устанок объяснил, что и как.

— Эти,—говорит,—камни желтые, крупа, песок и зелененьки стеклышки—это и есть самое вредное для вас. Купцы разнюхали, они уж спокую не дадут. Найдут людей, которые к вам полезут. А до царя дойдет—и вовсе житься не станет. Вы,—говорит,—вот что сделайте. Камни эти, самородки-то, значит, куда с глаз уберите. Хоть вон в Азов-гору стаскайте. И кразелиты туда же сгребите. А крупу и песок зарыть надо. Снизу черной земли выколотить, чтобы травой заросло. А пока все это не угсите, никаких чужестранных близко не подпускайте. Бейте их, все одно как зверя. Чтобы нечаянно не пришли, поставьте,—говорит,—на Думной горе и на Азов-горе караулы надежные. Пуцай досматривают по дороге, не идет ли кто, а как заметят чужестранного, пуцай знак подают—костерок запалят. Ну, тогда всем наготове быть и этих чужестранных бить насмерть, хуже они зверя всякого при вашем-то положении.

Девка все это растолмачила своим. Они видят, что человек для них старается,—послушались. Караулы поставили как он сказал, а сами занялись самородное золото да кразелиты подбирать да в Азов-гору стаскивать. Штабели наворотили—глядеть страшно, и кразелитов насыпали, как угольную кучу. Потом оставшуюся крупу и песок варыли, а чужих на то время близко не подпускали. Увидят с Азов-горы, либо с Думной, кто идет ли, едет ли, сейчас же знак подадут, огнем значит. Все сейчас и бегут в которую сторону надо. Навалятся, в одночасье прикончат. Прикончат и в землю заркоют. Оружьёв они уж тогда не боялись.

Только ведь золото-то человеку, как мухе патока: сколько гинут, а пуще лезут. Так и тут. Много людей сгнуло, а другие идут да идут. Это, значит, шушок про золото дальше да дальше идет. Кто-то, видно, и до царя дотолкал. Тут вовсе худо стало—с пушками полезли. Со всех сторон напирают. Даром, что лес страшенный, нашли пути-дороги.

Видят стары люди—дело неминуемое, сила не берет. Пошли к раненому-то посоветовать, как дальше быть-поступать.

А он на то время на Думной горе был. Для воздуху его девка-то туда притащила, как он вовсе слабый стал. Азов-гора, она сроду в лесу, а на Думной-то на камнях ветерком обдувает. Девка и таскала его. Отходить все охота была.

Думали они тут целых три дня. Оттого и гора Думной зовется. Раньше по-другому как-то у ней имя было. Обмозговали все по порядку и придумали переселиться на новые места, где золота совсем нет, а зверя, птицы и рыбы было бы вдосталь. Он же надоумил—Соликамский-от—и рассказал, в котору сторону податься. На этом дело и решили и в путь дорогу снаряжаться стали. Хотели стары люди этого своего радельца с собой унести, а он не пожелал:

— Смерть,—говорит,—чую близкую, да и нельзя мне.

Почему нельзя, этого не сказал, а стары люди допытывать не стали. И девка объявила: никуда не пойду. Мать, сестры в рев, отец пригрожать стал, братья уговаривают:

— Что ты, что ты, сестра! Вся жизнь у тебя впереди.

Ну, она на своем стоит:

— Такая моя судьба-доля. Никуда от своего милого не отойду.

Сказала, как отрезала. Кремень девка. По всем статьям вышла. И не найдешь такую в нынешнем народе, поди. Родные видят—ничего не поделаешь. Простились с ней честно-благородно, а сами думают—все равно она порченная. У которой ведь девушки жених умирает, так та хуже вдовы. На всю жизнь у ней останется.

Вот ушли все, а эти вдвоем в Азов-горе остались.

Людишки русски и татары уж со всех сторон набились в те места. Лопатами роют, друг дружку бьют. Поднимет кто самородок неприбранный, сейчас на него налетят. Отобрать стараются. Шум, гам, драки, смертоубийство.

Больной-то вовсе ослаб. Вот и говорит своей нареченной:

— Прощай, милая моя невестушка! Не судьба, знать, нам пожить, помиловаться, деток взростить.

Она, конечно, всплакнула женским делом, и всяко его уговаривает:

— Не беспокой себя, любезный друг, ни об чем не сумлевайся. Выхожу тебя, проживем сколь-нибудь.

А он опять ей:

— Нет уж, моя хорошая, не жилец я на этом свете. Теперь и хлебушком меня не поправить. Свой час чую. Да и не пара мы с тобой. Ты вон какая выросла, а я супротив тебя ровно малолеток какой. По нашему закону-

обычаю так-то не годится, чтобы жена мужа, как робенка, на руках таскала. Подождать, видно, тебе придется—и не малое время подождать, когда в пару тебе в нашей земле мужики вырастут.

Она это совестит его:

— Что ты, что ты! Про такое и думать не могли. Да чтобы я окроме тебя... да ни в жизнь этому не бывать...

А он олять свое:

— Не в обиду,—говорит,—тебе, моя милая невестушка, речь веду, а так оно быть должно. Открыто мне это, когда я поглядел, как вы тут по золоту без купцов ходите. Будет и в нашей стороне такое времячко, когда ни купцов, ни царя даже званья не останется. Вот тогда и в нашей стороне люди большие да здоровые расти станут. Одни такой подойдет к Азов-горе и громко так скажет твое дорогое имячко. И тогда зарой меня в землю и смело и радостно иди к нему. Это и будет твой суженый. Пущай тогда все золото берут, если оно тем людям на что сгодится. А пока прощай, моя ласковая...

Вдохнул в остатний раз и умер, как уснул. И в ту же минуту Азов-гора замкнулась.

Он, видать, неспроста это говорил. Мудреный человек был, не иначе с тайной силой знал. Соликамски-то, они дошлые на эти дела. В лесах живут, с колдунами знают.

Так с той поры в нутро Азов-горы никто попасть не может. Ход-от в пещеру и теперь знатко, только он будто осыпался. Пойдет кто, сейчас же осыпь зашумит, и страшно станет. Так впусе гора и стоит. Лесом заросла. Кто не знает, так и не подумает, что там, в нутре-то.

А там, слышь-ко, пещера огромная. И все хорошо облажено. Пол, например, гладкий-прегладкий из самого лучшего мрамору, а посредине ключ—и вода, как слеза. А кругом золотые штабеля понаторканы, как вот на площадке дрова, и тут же не мене угольной кучи кразелитов насыпано. И как-то устроено, что светло в пещере, как в комнате хорошей. Золотко поблескивает, ровно от его тепло идет, а кразелятики будто смеются, зелеными глазками подмигивают. И лежит в той пещере умерший человек, а рядом девица неописанной красоты сидит и не утихаючи плачет, а совсем не старится. Как был ей восемнадцатый годок в доходе, так и остался.

Пытались которые в эту пещеру пробраться. Всяко старались. Штольни били, — не вышло толку. Даже

деомид¹, слышь, не берет. Хотели омманом богатство добыть. Придут это к горе да и кричат слова разные, как по-чужднее. Думают, не угадаю ли, дескать, дорогое пмячко, которое само пещеру откроет. Известно, дураки. Сами потом как без ума станут. Болбочут что-то, а ничего разобрать нельзя. Имена, слышь-ко, все выдумывают.

Нет, видно, крепкое заклятие на то дело положено. Пока час не придет, не откроется Азов-гора.

Одинова только знак был. Это еще когда батюшка Омельян Иванович проявился и рабочие на Думной горе стали тайком собираться. Так вот, старики наши сказывали, будто на то время из Азов-горы как песня слышалась. Ровно мать с ребенком играет и веселую байку поет.

С той поры не было. Все стонет да плачет. Когда крепость сымали, нарощно многие ходили к Азов-горе послушать, как там. Нет, все стонет. Еще ровно жалобнее.

Оно и верно. Денежка похуже барской плетки народ гонит. И чем дальше, тем ровно больше силу берет. Наши вон отцы-деды в мои годы по печкам сидели, а я, слышь-ко, на Думной горе караул держу. Дровиную площадь барины Соломирского охраняю. Потому, кажнему до самой смерти пить-есть охота.

Да не дожидаться мне, вижу, когда Азов-гора откроется. Хоть бы песенку оттуда повеселее услышать довелось.

Вы вот, молоденькие, может, и дождетесь. Не может же быть того, чтобы люди не стняли у золота эту его силу-то. Соликамский-от с умом говорил. Понять это надо.

Кто вот из вас доживет до той поры, тот и посмотрит клад Азов-горы. Узнает и дорогое имячко, которым богатства открываются.

Так-то. Не простой это сказ. Шевелить, видно, надо умишком-то,—что к чему.

19. ПРО ВЕЛИКОГО ПОЛОЗА

Жил на заводе мужик один. Левонтием его звали. Старательный такой мужичок, безответный. Смолоду его в горе держали, на Гумешках то-есть. Медь добывал. Так под землей все молодые годы и провел. Как червяк, в земле копался. Свету не видел, позеленел весь. Ну, дело

¹ Д с о м и д—динамит.

известное, гора. Сырость, потемки, дух тяжелый. Ослаб человек. Приказчик видит, мало от него толку, и удобрился—перевести Левонтия на другую работу,—на Пискауху отправил, на казенный прииск золотой. Стал, значит, Левонтий на прииске рóбить. Только это мало делу помогло. Шибко уж он нездоровый стал. Приказчик поглядел-поглядел, да и говорит:

— Вот что, Левонтий, старательный ты мужик, говорил я о тебе барину, а он и придумал наградить тебя. Пушай, говорит, на себя старается. Отпустить его на вольны работы, без оброку.

Это в ту пору так дельвали. Изрóбится человек, никуда его не надо, ну и отпустят на вольную работу. Свои, значит, выгоды соблюдали, кормить не надо, а до рабочего им какое дело!

Вот и остался Левонтий на вольных работах. Ну, пить-есть надо, да и семья того требует, чтобы где-нибудь кусок добыть. А чем добудешь, коли у тебя ни хозяйства, ничего такого нет? Подумал-подумал, пошел стараться, золото добывать. Привышно дело с землей-то, струмент тоже не ахти какой надо. Расстарался, добыл и говорит ребятишкам:

— Ну, робятушки, пойдем, видно, со мной золото добывать. Может, на ваше ребячье счастье и расстараемся, проживем без млостыни.

А робятушки у него вовсе еще маленькие были. Старшие, вишь, не стояли, а этих двое последышков и остались. Чуть побольше десятка годов им.

Вот пошли наши вольны старатели. Отец еле ноги передвигает, а робятишки мал-мала меньше за ним поспешают.

Тогда, слышь-ко, по Рябиновке верховое золото сильно понадать стало. Вот туда и Левонтий заявку сделал. В конторе тогда на этот счет просто было. Только скажи да золото сдавай. Ну, конечно, и мошенство было. Как без этого? Замечали конторски, куда народ бросается, и за одачей следили. Увидят—ладно пошло, сейчас же то место под свою лапу. Сами, дескать, тут добывать будем, а вы ступайте куда-нибудь в другое место. Замест разведки старатели-то у них были. Те, конечно, опять свою выгоду соблюдали. Старались золото не оказывать. В контору одавали только, чтобы сдачу отметить, а сами все больше тайным купцам стуряли. Много их было, этих купцов-то.

До того, слышь-ко, исхитрились, что никака стража их уличить не могла. Так, значит, и катался обман-то шаричком. Контора старателей обвести хотела, а те опять ее. Вот как порядки были. Про золото стороной дознаться только можно было. Левонтию, однако, не потаили—сказали честь-честью. Видят, какой уж он добытчик! Пуцдай хоть перед смертью потешится.

Пришел это Левонтий на Рябиновку, облюбовал место и начал работать. Только сил у него, слышь-ко, мало. Живо намахался, еле жив сидит, отдышаться не может. Ну, а робятишки, каки они работники? Все ж таки стараются. Поробили так-то с неделю, либо боле: видит Левонтий—пустяк дело, на хлеб не сходится. Как быть? А самому все хуже да хуже. Исчах совсем, а человек самостоятельный, неохота ему по миру итти и на робятишек сумки надевать. Пошел в субботу золотишко, какое намыл, сдать в контору, а ребятам наказал: «Вы тут побудьте, струмент покараульте, а то таскать-то его взад-вперед ни к чему нам».

Остались, значит, ребята караульщиками у шалашика. Сбегал один на Чусову реку. Близко она тут. Порыбачил маленько. Надергал пескозобишков, окунишков, и давай они ушку себе готовить. Костер запалили, а дело к вечеру. Боязно ребятам стало.

Только видят—старик, заводский же. Семенычем его звали, а как по фамилии, не упомяну.

Старик этот из солдат был. Раньше-то, рассказывают, самолучший кричный мастер был, да согрубил что-то приказчику, тот его и велел в пожарну отпратить—пороть, значит, а этот Семеныч буйство учинил, не стал даваться, рожи которым покарябал. Как он сильно проворный был. Известно, кричный мастер. Ну, все ж таки обломали. Пожарники-то тогда здоровущие подбирались, чисто палачи какие. Выпорол, значит, Семеныча, а за буйство в солдаты и сдали. Через двадцать пять годов, слышь-ко, он пришел в завод-от. Вовсе стариком, а домашние у него все за это время примерли, избушка заколочена стояла. Хотели уж ее разбирать, шибко некорыстна была. Тут он и объявился. Подправил свою избушку и живет в ней потихоньку один-одишоленек. Только стали соседи замечать—неспроста дело. Книжки каки-то у него. И каждый вечер он над ими сидит. Думали сперва, не умеет ли людей лечить. Стали с этим к нему побегивать. Отказал. «Не знаю,—гово-

рит,—этого дела. И какое тут у вас может лечение быть, когда такая у вас работа». Думали—может, веры какой особой. Тоже не видно. В церкву ходит о пасхе да о рождестве, как обыкновенно мужики, а приверженности не оказывает. И тому опять дивятся: работы нет, а чем-то живет. Огородишко, конечно, у него был. Ружьишко немудрящее имел, рыболовную снасть тоже. Только разве этим проживешь? А деньжонки, промежду прочим, у него были. Бывало, кой-кому и давал. И чудно этак. Иной просит-просит, заклад дает, набавку какую хошь обещает, а не даст. А к другому сам придет: «Возьми-ка, Иван, или там Михайло, на корову. Робятишки у тебя маленькие, а подняться, видать, не можешь». Одним словом, чудной старик. Чортознаем его считали. Это больше за книжки-то.

Вот подошел этот Семеныч, поздоровался. Ребята радехоньки, зовут его к себе: «Садись, дедушко, похлебай ушки с нами». Он не посупорствовал, сел. Попробовал ушки и давай нахваливать, до чего-де навариста да сусна. Сам из сумы хлебушка мяконького достал, ломоточками разрезал и перед ребятами расклат. Те видят, старику ушка поглянулась, и давай оплетать хлебушко-то, а Семеныч одно свое—ушку нахваливает: «Давно,—говорит,—так-то не едал». Ребята под этот разговор и наелись как следует. Чуть не весь стариков хлеб съели. А тот знай похмыкивает: «Давно так-то не едал».

Ну, наелись ребята, старик и стал их спрашивать про их дела. Ребята обсказали ему все по порядку, как отцу от заводской работы отказали и на волю перевели. Как они тут работали. Семеныч только головой покачивает да повздыхивает: охо-хо да охо-хо. Подконец спросил: «Сколько намыли?» Ребята говорят: «Золотник, либо поболее,—так тятенька сказывал». Старик встал и говорит: «Ну, ладно, ребята, надо вам помочь. Только вы уж помалкивайте. Чтоб ни-ни. Ни одной душе живой, а то...» И Семеныч так на ребят поглядел, что им даже страшно стало. Ровно вовсе на Семеныча непохожий стал. Потом опять старик усмехнулся эдак и говорит: «Вот что, ребята, вы тут сидите у костерка и меня дожидаетесь, а я схожу—покучусь кому надо. Может, он вам поможет. Только, чур, не бояться, а то все дело пропадет. Помните это хорошенько».

И вот ушел старик в лес, а ребята остались. Друг на друга поглядывают и ничего не говорят. Потом старший на-

смелится и говорит тихонько: «Смотри, братко, не забудь, чтоб не бояться»,—а у самого губы побелели и зубы чкают. Младший на это отвечает: «Я, братко, не боюсь»,—а сам помучил весь.

Вот сидят так-то, дожидаются, а ночь уж совсем, и тихо в лесу стало. Слышно, как вода в Рябиновке шумит. Прошло довольно дивно времечка, а никого нет, у ребят испуг и отбежал. Навалили они в костер хвой, еще веселее стало. Вдруг слышат, в лесу разговаривают. Ну, думают, люди какие-то идут. Откуда? В э́ко время? Опять страшно стало.

И вот подходят к огню двое. Один-от Семеныч, а другой с ним незнакомый какой-то и одет не по-нашински. Кафта́н это на нем, штаны—все желтое, из золотой, слышь-ко, поповской парчи, а поверх кафтана широкой пояс с узорами и с кистями, тоже из парчи, только с зеленью. Шапка желтая, а справа и слева по ней красные зазорины, и сапожки тоже красные. Лицо желтое, в окладистой бороде, а борода вся в тугие кольца завилась. Так и видно, не разогнешь их. Только глаза зеленые и светят, как у кошки. А смотрят по-хорошему, ласково. Мужик такого же роста, как Семеныч, и не толстый, а видать, грузный. На котором месте стал, под ногами у него земля вдавилась. Ребятам все это занятно, они и бояться забыли, смотрят на того человека, а он и говорит Семенычу шуткой так:

— Это,—говорит,—вольны-то старатели? Что найдут—все заберут? Никому не оставят?

Потом прихмурился и говорит Семенычу, как советуется с ним:

— А не испортим мы с тобой этих ребятишек-то?

Семеныч стал сказывать, что ребята не балованные, хорошпие, а тот опять свое:

— Все люди на одну колодку. Пока в нужде да в бедности, ровно бы ничего, а как за мое охвостье поймаются, так откуда только на их всякой погани нальнет.

Постоял, помолчал и говорит:

— Ну ладно, попытаем. Малолетки, может, лучше окажутся. А так робятки ладненьки. Жалко будет, ежели испортим. Меньшенькой-то вон тонкогубик. Как бы жадной не оказался. Ты уж понастуй сам, Семеныч. Отец-то у них не жалец. Знаю я его. На ладан дышит, а тоже старается сам кусок заработать. Самостоятельный мужик. А вот да́й ему богатство—тоже испортится.

Разговаривает так-то с Семеннычем, будто ребят тут и нет. Потом посмотрел на них и говорит:

— Теперь, ребятуншки, смотрите хорошенько. Замечайте, куда след пойдет. По этому следу сверху и копайте. Глубоко не лезьте, ни к чему это.

И вот видит ребята—человека того уж нет. Которое место до пояса—все это голова стала, а от пояса шея. Голова точь-в-точь такая, как была: только большая, глаза ровно по гусиному лицу стали, а шея змеиная. И вот из-под земли стало выкатываться тулово преогромного змея. Голова поднялась выше лесу. Потом тулово выгнулось прямо на костер, вытянулось по земле и поползло к Рябиновке, а из земли все кольца выходят да выходят. Ровно им и конца нет. И то диво: костер-от потух, а на полянке светло стало. Только свет не такой, как от солнышка, а какой-то другой, и холодом потянуло.

Дошел змей до Рябиновки и полез в воду. А вода сразу и замерла по ту и по другую сторону. Змей перешел на другой берег, дотянулся до старой березы, которая тут стояла, и кричит:

— Заметили? Тут вот и копайте. Хватит вам по сиротскому делу. Чур, не жадничайте.

Сказал так-то и ровно растаял. Вода в Рябиновке опять зашумела, и костерок оттаял и загорелся, только трава будто все еще озябла, как иней ее прихватил.

Семенныч и объясняет ребятам:

— Это есть великой Полоз. Все золото в его власти. Где он пройдет—туда оно и подбежит. А ходить он может и по земле и под землей, как ему надо, и места может окружить сколько хочет. Оттого вот и бывает—найдут, например, люди хорошую жилку, и случится у них какой обман либо драка, а то и смертоубийство, и жилка потеряется. Это значит, Полоз побывал тут и отведал золото. А то вот еще так бывает. Найдут старатели хорошее рассыпное золото, ну и питаются. А контора вдруг объявит—уходите, мол, за казну это место берем, сами добывать будем. Навезут это машины, народу нагонят, а золота-то и нету. И вглубь бьют и во все стороны лезут—нету, и будто вовсе не бывало. Это Полоз окружил все то место да пролежал так-то ночку, золото и стянулось все по его-то кольцу. Попробуй, найди, где он лежал.

Не любит, вишь, он, чтобы около золота обман да мошенства были, а пуще того, чтобы один человек другого утес-

нял. Ну, а если для себя стараются, тем ничего, поможет еще когда, вот как вам, только вы смотрите, молчок про эти дела, а то все испортите. И о том старайтесь, чтобы зря золото не рвать. Не на то он вам его указал, чтобы вы жадничали; слышали, что говорил-то? Это не забывайте первым делом. Ну, а теперь спать ступайте. А я посижу тут у костерка.

Ребята послушались, ушли в шалашик, и сразу на них сон навалился. Проснулись поздно. Другие старатели уже давно работают. Посмотрели ребята один на другого и спрашивают: «Ты, братко, видел вчера что-нибудь?» Другой ему: «А ты видел?» Договорились все ж таки. Заклялись, забожились, чтобы никому про то дело не рассказывать и не жадничать, и стали работать. На том самом месте копать стали, где костер был. И сразу, слышь-ко, две золотые жужелки нашли, и песок пошел не такой, как раньше. Совсем хорошо у них дело сперва пошло. Ну, потом свихнулись, конечно, только это уж друга побывальщина пойдет. Другой раз и расскажу.

20. МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА

Пошли раз двое наших заводских траву смотреть. А покосы у них дальние были. За Северушкой где-то. Верст, поди, десять, а то все пятнадцать до того места.

День праздничный был, и жарко страсть. Паруи чистый. А оба в горе робыли, на Гремушках то-есть. Малахит-руды добывали, лазоревку тоже. Ну, когда и королек с витком попадали и там протча, что пойдет.

Один-от молодой парень был, неженатик, а уж в глазах у него зеленью отливать стало. Другой постарше. Этот и вовсе изробленной. В глазах зелено, в волосах и по щекам будто зеленый налет. И кашлял завсе тот человек.

В лесу-то хорошо. Пташки поют—радуются, от земли воспаренье, дух легкий, их, слышь-ко, и разморило. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железу руду добывали. Легли, значит, наши-то на травку под рябиной да сразу и уснули. Только вдруг молодой-то, ровно его кто под бок толкнул,—проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спина к парню, а по косе видать—девка. Коса сиза-черная и не как у наших девок болтается,

а ровно прилипла к спине. На конце, слышь-ко, ленты, не то красные, не то зеленые. Сквозь свитект и тонко этак позванивают, будто листовая медь. Дивится парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо—на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнется, на другой. На ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Одним словом, артуть-девка. Слыхать, лопочет что-то, а по-каковски—неизвестно и с кем говорит—не видно. Только со смешком все. Весело, видно, ей.

Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло, в пот нальне¹ бросило: «Мать ты моя, да ведь это сама хозяйка! Ее одёжа-то. Как я сразу не приметил? Отвела глаза косою-то своей».

А одёжа, и верно, такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового малахиту, слышь-ко, платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаза, как шелк, хоть рукой погладить.

«Вот,—думает парень,—беда! Как бы только ноги унести, пока не заметила». От стариков он, вишь, слышал, что хозяйка эта, малахитница-то, любит над человеком мудрывать.

Только подумал так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой:

— Ты что же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пилишь? За погляд-то ведь деньги берут. Иди-ка сюда поближе. Поговорим маленько.

Парень испужался, конечно, а виду не оказывает. Крепится. Хоть она и тайна сила, а все ж таки девка. Ну, а он парень,—ему, значит, и стыдно перед девкой обробеть.

— Некогда,—говорит,—мне разговаривать. Без того проспали, а траву смотреть пошли.

Она посмеивается, а потом и говорит:

— Будет тебе наигрыш вести. Иди, говорю,—дело есть.

Ну, парень видит—делать нечего. Пошел к ней, а она рукой маячит,—обойди де руду-то с другой стороны. Он обошел и видит, ищерок тут несчисленно. И все, слышь-ко, разные. Одне, например, зеленые, други голубые, которые в синь впадают, а то как глина либо песок с золотыми крапинками. Одни как стекло либо слюда блестят, а

¹ Н а л ь н е—даже.

другие как трава поблеклая, а которые опять узорами изукрашены.

Девка смеется.

— Не расступи, — говорит, — мое войско, Степан Петрович. Ты вон какой большой да тяжелый, а они у меня маленькие. — А сама ладошками схлопала, ящерки и разбежались, дорогу дали.

Вот подошел парень поближе, остановился, а она опять в ладошки схлопала да и говорит, и все смехом, слышь-ко:

— Теперь тебе ступить некуда. Раздавишь какую мою слугу — беда будет.

Он поглядел под ноги, а там и земли незнатко. Все ящерки-то сбились в одно место, — как пол узорчатый под ногами стал. Глядит Степан — батюшки, да ведь это рудка медная! Всяких сортов и хорошо отшлифована. И слюдка тут же, и обманка, и блески всяки, кои на малахит походят.

— Ну, теперь признал меня, Степанушко? — спрашивает малахитница, а сама хохочет-заливается. Потом, мало погодя, и говорит: — Ты не пужайся. Худого тебе не сделаю.

Парню забедно¹ стало, что девка над ним насмеяется да еще слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже:

— Кого мне бояться, коли я в горе рѣблю!

— Вот и ладно, — отвечает малахитница, — мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться будет тут ваш заводской приказчик, ты ему и скажи. Да смотри, не забудь слов-то: «Хозяйка, мол, медной горы заказывала тебе, душному козлу, чтобы ты с Красногорского рудника убирался. Ежели еще будешь эту мою железню шапку ломать, так я тебе всю медь в Гумешках туда спущу, что никак се не добыть».

Сказала это и прицурилась:

— Понял ли, Степанушко? В горе, говоришь, работаешь, никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела, а теперь иди да тому, который с тобой, ничего, смотри, не говори. Изробленный он человек, что его тревожить да в это дело впутывать! И так вон лазоревке сказала, чтобы она ему маленько пособила.

И опять похлопала в ладошки, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, прихватила рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-

¹ З а б е д н о — обидно.

то. Вместо рук-ног лапы у нее зеленые стали, хвост высу-
нулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова
человечья. Забежала на вершину, оглянулась и говорит:

— Не забудь, Степанушко, как я говорила. Велела,
мол, тебе—душному козлу—с Красногорки убираться.
Сделаешь по-моему, замуж за тебя выйду.

Парень даже сплюнул вгорячах:

— Тфу ты, погань такая! Чтоб я на ящерке женился!
А она видит, как он плюется, и хохочет.

— Ладно,—кричит,—потом поговорим. Может, и наду-
маешь?

И сейчас же за горку, только хвост зеленый мелькнул.

Парень остался один. На руднике тихо, слышно только,
как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его.
Сходили на свои покосы, посмотрели траву, к вечеру домой
воротились, а у Степана одно на уме: как ему быть? Ска-
зать приказчику такие слова—дело немалое, а он еще,
и верно, и душой был—гниль кака-то в нутре у него,
сказывают, была. Не сказать тоже боязно. Она ведь хозяй-
ка. Какую хошь руду может в обманку перекинуть. Выпол-
няй тогда уроки-то. А хуже того, стыдно перед девкой хва-
стуном себя оказать. Думал, думал, насмелился: «Была
не была, сделаю, как она велела».

На другой день поутру, как у спускового барабана
народ собрался, приказчик заводской подошел. Все,
конечно, шапки сняли, молчат, а Степан подходит и го-
ворит:

— Видел я вечером хозяйку медной горы, и заказывала
она тебе сказать. Велит-де она тебе, душному козлу,
с Красногорки убираться. Ежели ты ей эту железню
шанку спортишь, так она всю медь на Гумениках туда
спустит, что никому не добыть.

У приказчика даже усы затряслись:

— Ты что это? Пьяный али ума лишился? Какая хо-
зяйка? Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе
сгною!

— Воля твоя,—говорит Степан,—а только так мне
велено.

— Выпороть его,—кричит приказчик,—да спустить
в гору и в забое приковать! А чтобы не издох, давать ему
собачьей овсянки и уроки спрашивать без поблажки.
Чуть что—драть нещадно.

Ну, конечно, выпороли парня и в гору. Надзиратель

рудничной, — тоже собака не последняя, — отвел ему забой хуею некуда. И мокро тут, и руды доброй нет, давно бы бросить надо. Тут приковали Степана на длинную цепь, чтобы, значит, работать можно было. Известно, какое время было, — крепость. Всяко галились над человеком. Надзиратель еще и говорит: «Прохладись вот тут маленько. А уроку с тебя будет чистым малахитом столько-то», и назначил вовсе несообразное.

Делать нечего, как отошел надзиратель, стал Степан каёлкой помахивать; а парень все ж таки проворной¹ был. Глядит, — ладно ведь. Так малахит и сыплется, ровно кто его руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя. Сухо стало.

«Вот, — думает, — хорошо-то! Вспомнила, видно, обо мне хозяйка». Только подумал, вдруг звосияло. Глядит, а хозяйка тут, перед ним.

— Молодец, — говорит, — Степан Петрович. Можно чести приписать². Не испужался душного козла. Хорошо ему сказал. Пойдем, видно, мое приданое смотреть. Я тоже от своего слова не отпорна.

А сама принахмурилась, ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки — ящерки набежали, со Степана цепь сняли, а хозяйка им распорядок дала:

— Урок тут наломайте вдвое. И чтобы на отбор малахит был, шелкового сорта. — Потом Степану говорит: — Ну, женишок, пойдем смотреть мое приданое.

И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идет, все ей открыто. Как комнаты большие под землей стали, а стены у них разные. То все зеленые, то желтые с золотыми крапинками. На которых опять цветы медны. Синие тоже есть, лазоревы. Одним словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней — на хозяйке-то — все время меняется. Вот оно блестит, будто стекло, и вдруг полиняет, а то алмазной осыпью заблестит, либо скрасна-медным станет, потом опять шелком зеленым отливает. Идут-идут, остановилась она.

— Дальше, — говорит, — на многие версты желтяки да серяки с крапинкой пойдут. Что их смотреть? А это вот под самой Красногоркой мы. Тут у меня после Гумешек самое дорогое место.

¹ Проворный — в заводском говоре — сильный.

² Чести приписать — в смысле: похвалить.

И видит Степан огромную комнату, а в ней постеля, столы, тубареточки, все из корольковой меди. Стены малахитовы с алмазом, а потолок темнокрасный под чернетью, а на нем цветки медны.

— Посидим,—говорит,—тут, поговорим.

Сели это они на тубареточки, малахитница и спрашивает:

— Видал мое приданое?

— Видал,—говорит Степан.

— Ну, как теперь насчет женитьбы?

А Степан и не знает, как отвечать. У него, слышь-ко, невеста была. Хорошая девушка, спрятка одна. Ну, конечно, против малахитницы где же ей красотой равняться! Простой человек, обыкновенный. Помялся, помялся Степан, да и говорит:

— Приданое у тебя царям впору, я человек рабочий, простой.

— Ты,—говорит,—друг любезный, не вихляйся. Прямо говори, берешь меня замуж или нет?—И сама вовсе принахмурилась.

Ну, Степан и ответил напрямки:

— Не могу, потому другой обещался.

Молвил так-то и думает: огневается теперь. А она вроде обрадовалась даже и веселая стала.

— Молодец,—говорит,—Степанушко! За приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменную девку.

А у парня, верно, невесту-то Настей звали.

— Вот,—говорит,—тебе подарочек для твоей невесты,—и подает большую малахитову шкатулку. А там, слышь-ко, всякой женской прибор. Серьги, кольца и протча, что даже не у всякой богатой невесты бывает.

— Как же,—спрашивает парень,—я с эким местом наверх поднимусь?

— Об этом не печалься. Все тебе будет устроено и от приказчика тебя вызволю, и жить безбедно будешь со своей молодой женой, только вот тебе мой сказ—обо мне, чур, потом не забывай. Это третье тебе мое испытание будет. А теперь давай поешь маленько.

Схлопала опять в ладошки, набежали ящерики—полон стол установили. Накормила она его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и протчим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит:

— Ну, прощай, Степан Петрович, смотри не вспоминай обо мне.

А у самой слезы. Она это руку подставила, а слезы кап-кап и на руке зернышками застывают. Полнехонька горсть.

— На-ко вот, возьми на разживу. Люди большие деньги за эти камешки дают. Богатой будешь,—и подает ему.

Камешки холодные, а рука, слышь-ко, горячая, как есть живая, и трясется маленько.

Степан принял камешки, поблагодарил за все, поклонился ей низко и спрашивает:

— Куда мне идти?—А сам тоже невеселой стал.

Она указала перстом, перед ним и открылся ход, как штольня, и светло в ней, как днем. Пошел Степан по этой штольне,—опять всяких земельных богатств нагладелся и пришел как раз к своему забою. Пришел, штольня и закрылась, и все стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, шкатулка с подарками вдруг маленькая стала, Степан и спрятал ее за пазуху.

Вскоре надзиратель рудничной подошел. Посмеяться ладил, а видит, у Степана поверх урока наворочено, и малахит, слышь-ко, отбор, сорт-сорт. «Что,—думает,—за штука? Откуда это он наломал?» Полез в забой, осмотрел все, да и говорит:

— В эком-то забое всякой дурак сколь хошь наломает!

И распорядился перевести Степана в другой забой, а в этот своего племянника поставил.

На другой день стал Степан работать, а малахит сам так и отлетает, да еще королек с витком попадать стали, а у того, у племянника-то,—скажи на милость,—ничего доброго нет, все обальчик¹ да обманка идет. Тут надзиратель и смел дело. Побежал к приказчику. Так и так, обсказал все.

— Не иначе,—говорит,—что Степан душу нечистой силе продал.

Приказчик на это и говорит:

—Это его дело, кому он душу продал, а нам свою выгоду понять надо. Пообещай ему, что на волю выпустим, пуцай только малахитну глыбу во сто пуд найдет.

Вселел все ж таки приказчик-от расковать Степана и приказ такой дал на Красногорке—работы прекратить.

¹ О б а л ь ч и к—пустая порода.

— Кто,—говорит,—его знает! Может, этот дурак от ума тогда говорил. Да и руда там с медью пошла, только чугуну порча.

Надзиратель объявил Степану, что от него требуется, а тот ответил:

— Кто от воли откажется? Буду стараться, а найду ли—это уж как счастье мое подойдет.

Вскорости нашел им Степан глыбу такую. Выволокли ее наверх. Гордятся—вот-де мы какие, а Степану воли не дали. О глыбе написали барину, тот и приехал из самого, слышь-ко, Сам-Петербурху. Узнал, как дело было, и зовет к себе Степана.

— Вот что,—говорит,—даю тебе свое дворянское слово отпустить тебя на волю, ежели ты мне найдешь таки малахитовы камни, чтобы, значит, из их вырубить столбы не менее пять сажен в долину.

Степан отвечает:

— Меня уж раз так-то опдели. Ученой я none. Сперва вольную пиши, потом стараться буду, а что выйдет—увидим.

Барин, конечно, закричал, ногами затопал, угрожать стал, а Степан одно свое:

— Чуть было не забыл: невесте моей тоже вольную пропиши, а то что это за порядок,—сам буду вольный, а жена в крепости.

Барин видит, парень не мягкой. Написал ему актову бумагу, печать приложил.

— На,—говорит,—только старайся, смотри.

А Степан все свое:

— Это уж как счастье поищет.

Нашел, конечно, Степан-от. Что ему, коли он все нутро горы вызнал и сама хозяйка ему пособляла! Вырубили из этой малахитины столбы, каки им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Сам-Петербурхе отпавил. А глыба та, которую Степан сперва нашел, и посейчас в нашем городе¹, говорят, находится. Как редкость ее берегут.

С той поры Степан на волю вышел, а в Гумешках после того ровно все богатство пропало. Много-много лазоревка идет, а больше обманка, о корошке с витком и слыхом не слыхать стало, и малахит ушел, вода долить²

¹ Г о р о д—так называли рабочие Полевского и Сысертского заводов Екатеринбург, нынешний Свердловск.

² Д о л и т ь—одолевать.

приняла. Так с той поры Гумешки на убыль и пошли, а потом их и вовсе затопило. Говорили, что это хозяйка огневалась. За столбы-то, слышь-ко, что их в церкву поставили. А ей это вовсе ни к чему.

Степан тоже счастья в жизни не поймел. Женился он, семью завел, дом обстроил, все как следует. Жить бы ровно да радоваться, а он невеселый стал и здоровьем хёзнул. Так на глазах и таял.

Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И все, слышь-ко, к Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит. В осенях ушел так-то, да и с концом. Вот его нет, вот его нет, куда девался? Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышь-ко, на руднике у высокого камня мертвый лежит, ровно улыбається, и ружьечко у него тут же в сторонке валяется, не стреляно из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели,— да такую, слышь-ко, большую, каких и вовсе в наших местах не бывает. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слезы у ней так и каплют. Как люди ближе подбежали, она—на камень, только се и видели. А как покойника домой привезли да обмывать стали,—глядят—у него одна рука накрепко зажата и чуть видны из нее зернышки зелененькие. Полнехонька горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит:

— Да ведь это медный изумруд! Редкостный камень, дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось, на весь век хватит. Откуда только у него эти камешки?

Настасья, жена-то его, объясняет, что никогда покойник ни про какие таки камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей, когда еще женихом был. Большую шкатулку малахитову. Много в ей всякого добренького, а таких камешков нету. Не видывала.

Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда они у Степана были. Копались потом на Красногорке. Ну, руда и руда, бурая с медным блеском. Потом уж кто вызнал, что это у Степана слезы хозяйки медной горы были. Не продал их, слышь-ко, никому, тайно от своих сохранял, с ними и смерть принял. А?

Вот она, значит, какая медной горы хозяйка.

Худому с ней встретиться—горе, и доброму—не радость.

У старых владельцев, у Турчаниновых-то Петро да Марко в роду впереमेжку ходили. Отец, например, Петро Маркыч, а сыи Марко Петрович. У Демидовых тагильских, у тех Окинтей да Никита, а у этих Петро да Марко. Глянулось, видно. Мода така была. Нонешнего барчонка, кой в лета не вошел, тоже, слышь-ко, Марком кличут. Ну, это их дело. Рабочему человеку в том сласти мало. Петро ли, Марко, а все барин. Не к тому разговор, чтобы их имена разбирать.

А вот есть чуть не в самой середке нашей заводской дачи гора одна—Марков камень. Которые заводские и думают, будто по Марку Турчанинову этак гора прозывается. Любил, дескать, который-нибудь туда на охоту ездить, либо еще что. Ну только это напрасно говорят. Там вовсе, может, ни один Турчанинов и не бывал. Шибко глухо место, в болотах кругом. Не барско дело по эким местам бродить.

Название горы по другому Марку поставлено. Тайности тут никакой нету. Побывальщину эту мне покойный дедко сказывал. Он еще вовсе маленький был, когда случай тот вышел. Лет, поди, сто, а то и больше тому делу.

Была, слышь-ко, на заводах барыня Колтовская. Она тоже в девках-то Турчанинова была, а вышла замуж за какого-то генерала или там порутчика и стала Колтовская. Пошто она в Сысерти жила—овдовела али с мужем разошлась, про то мне неизвестно. Одно знаю—не про одну старинну барыню у нас в заводах речей нет, а про эту Колтовчиху помнят. Оставила, значит, следок. Которая девчонка или бабенка загуляла, про ту говорят: «Колтовчиху покрасить хочет».

Она, эта Колтовчиха-то, до того к мужику жадная была, что удивленье просто. Чисто сучка. Господишек, конечно, коло ее сколь хочешь. Известно, господское положение. Что им делать? Только этой барыне тех своих мужиков нехватало. Она и нашим братом, рабочим, который побаче ¹ да поскладнее, не брезговала. Нет-нет, из Сысерти слышок дойдет: взяла, дескать, барыня нового кучера, а старого отставила. А уж все знали, в чем тут загвоздка. Только какое тут рабочему дело? Взяла и взяла.

¹ П о б а щ е—покрасивее.

Дело подневольное, а все-таки не в гору человека нарядили. Посмеются еще так-то, а то и не подумают, что это, может, похуже горы.

И вот приезжает эта барыня Колтовская к нам в Полевской завод. Как раз о празднике дело было. У нас на Петра-Павла, известно, гулянка. И тогда она была. По случаю церкви, конечно, как Петропавловская она.

После службы церковной, почитай, весь завод на той вои горке, у старой плотинки собирался. Там главная гулянка и была. Сперва робятишки бороться очнут, потом и до мужиков дойдет. Лучше того не знали, как силой похвастаться. Ну, и барам это, видно, к руке шло. Жаловали хороших борцов и всяко нахваливали.

Которые в медной горе рбили шибко—ровно худые были, а сила у них в руках и в ногах большая. Фабричным супротив их неохота неустойку оказать. Самолучших против горы ставят. А тоже у их, у фабричных-то, силка была. Особо у кричных. У которого уж и грыжа настрогана, а подойди к нему, сунься. Крица-то, ведь она шесть пудов. Поворочай ее над огнем клещами. Как силе не быть.

Был в ту пору в кричной подмастерье один, Марком его звали. Чипуштанов ли как по фамилии, а прозвище у них было Береговики. Ох, и парень! В кого только уродился этот Марко Береговик! Высокой, ловкой, из себя чистяк, а сила в ем медвежья положена. Даром что молодой, а уж который год круг уносил. Никто против него устоять не мог.

Горе, конечно, обидно, что крична большинство берет. Вот гора и сделала подвод—Онисима своего подставила. А тот Онисим у их, прямо сказать, урод в людях был. Мужик уже в годах и на грудь жаловался, а посмотреть на его—страшно. Согнулся, ссутулился, а все печатна сажень, и руки чуть не до полу, как клешни висят. Двадцать пять лет в горе выробил. Вот какой человек! Гора его—сгрызть не могла.

С этим Онисимом давно уже никто не боролся, да и сам он к этому не охотился. А тут подвели дело. Как, значит, самолучшие борцы выходить стали, Онисим напоследях и выкатился. Ну, побросал, конечно, всех, как котят. Крична кричит: «Невзачет Онисима! С эким зверем ни один человек не управится! Что его считать?» А гора свое: «Струсили, жженопятики! Каки у вас борцы после этого!»

Однем словом, перекор пошел. Онисим стоит посередине круга, покашливает, потом и говорит: «Выходи, Маркушко. Охота мне узнать, как в тебе силка». А Марко отвечает: «Ну что же, попытаем нето, дядя Онисим. Я бы супротив тебя не вышел, как не твоя охота».

Вот и вышел Марко-то. Борются у нас, известно, в замок. И тогда этак же. У кого, значит, спина не хрустнет да ноги выдюжат. Ну, и сировка тоже требуется. Марко супротив Онисима пожиже кажется, а ведь одолел. Это Марко-то. Из трех разов только раз под Онисимом побывал, а два раза его бросил. Молодой все ж таки. Куда старому! Крична, конечно, радуется, а гора кричит: «Неправильно боролись! Сызнова надо». Пошумели, конечно, а до драки не дошло. Сам, слышь-ко, Онисим, как поднялся с земли да прокашлялся, это дело утихомирил. «Чего,—кричит,—зря гаметь? Правильно все было. Никакой фальши от Марка не видел. И больше я бороться не буду. Попытал—хватит. Немолодое мое дело этим забавляться».

Тем дело и кончилось. Марко, значит, опять круг унес. Борцам выдали подарки, кому пояс, кому шапку, а Марку с Онисимом—по кафтану.

После этого пошли, конечно, в кабак. И Марка с собой ведут, а он, видишь, на вино невоздержной парень был да и молодой еще. Ему охота тут остаться, поглядеть, как девки-бабы хоромы поведут. Поплясать с ними, песенку попеть. Ну, опять же: как мужикам откажешь, раз круг унес? Уважить надо. Пошел с ними, а сам кричит: «Ты, Татьяна, не уходи! Сейчас оборочусь». Это он своей бабе. Недавно, слышь-ко, женился. Только первый год жили. Ласковая такая ему бабочка попалась, веселая. Они и миловались, прямо сказать, у людей на глазах. Другим бабам-девушкам даже завидно было.

Не успели мужики до кабака дойти, подбежал барский казачок—Марка барыня требует. А она—барыня-то Колтовчиха—на круг из коляски своей глядела. Господишки, которые с ней из Сысерти приехали, тут же. И приказчик тут и все начальство заводское. Так и не пришлось Марку стаканчик пропустить. Подходит Марко к барыне, а она ему рубль серебряный подает. «На-ко,—говорит,—молодец. Жалую тебя из своих барских рук». Ну, Марко тоже знал, как ему поступать. Поклонился и говорит: «Покорнейше благодарим барыня. Рад стараться». А барыня так

в него глазами и впиалась. Прямо сказать, стыда у бабы нисколечко. Всякому видно. Один Марко этого не понял и норовит потихоньку отойти. А барыня видит, что он отодвигается, и говорит: «Подойди ближе, покажи руку», Марко подошел, конечно, и руку показывает, ладонью кверху. Барыня засмеялась, да и говорит: «Загни рукав!» Марко так и сделал, а она хватъ его за руку. Щупает, слышь-ко, как вот ровно лошадь смотрит. Господиньки тута же тянутся, бормочут промеж себя не по-русскому. Марку, конечно, обидно, что его так оглядывают, все ж таки виду не подает. Будто так и надо. Барыня велит ворот расстегнуть, грудь—плечо показать. Марко покраснел весь, зло его взяло, а все исполнил, как она требовала. Колтовчиха сохвatala его рукой за плечо, похлопывает потихоньку, лотошит с господишками-то, а о чем—не разберешь. Только и слышно слово како-то. Вроде как Марку имя дает. Заводские наня бабешки, кои поближе стояли, зашушукали и над Татьяной уж надсмешки строят: «Твоего-то барыня в жеребцы выбрала. Кличку, слышь, ему новую придумала».

Татьяна—женщина молодая, совсем сказать—девчонка. Споровки у ней настоящей нет, как, значит, жить-то. Она возьми и зареви. Так, слышь-ко, голосом и завывала. Все одно как по покойнику. «Ой, да что же это, девоньки, деется...» Марко услышал, ревет кто-то. Поглядел, а это Татьяна. И барыня углядела, спрашивает приказчика—кто завывл? Приказчик рассказывает, что это Маркова жена. «Привести сюда»,—говорит барыня. Привели Татьяну, барыня и спрашивает: «Ты о чем?» А та с простоты и ляпни: «Бабы-де сказывают, будто Марка на конный завод берешь». Барыня этак усмехнулась, да и говорит: «Хорошо бабы придумали. Сама-то я, может, и не догадалась бы. На конном дворе и верно, конюхов надо помоложе да поздоровее. Твоего, пожалуй, возьму». Татьяна думает, и вправду это она сама барыню надоумила, хлоп ей в ноги: «Помилуй, барыня-сударыня! Не бели у меня Марка брать. Первый годок с им живем. Да и не умеет он у меня, с конями-то».—«Он, гляжу, и с тобой управиться не умеет. Вишь, как ты язык распустила при госпоже своей. Обоих вас поучить надо»,—говорит барыня и приказчику наказ дает: «Ты эту ко мне в горничные доставь. Завтра же с утра чтоб отправлена была. Вон она как щеки наела. Устиньюшка моя живо обобьет лишне-то... А ты,

молодец, что же жену свою не учишь?»—спрашивает барыня у Марка.

Тот и без того изорвался весь. То скраснеет, то побелеет. Стыдно ему перед народом, как его Колтовчиха оглядывала, за голо тело рукой хватала, а тут еще Татьяна сгруппа на смех поставила. Так бы ровно весь свет расшиб. Он и хватил Татьяну-то по уху. Та так и покатила. А бабешки, которые Татьяну подравили,—есть ведь между их стервы-то,—сейчас же заойкали: «Ой, убил! Ой, убил!» Марко глядит—и верно, лежит Татьяна белехонька, глаза закрыла и дыхания нет. А барыня на него же: «Это еще что за нежности! Разбаловал бабенку, ударить ее нельзя!» Тут Марко и не стерпел. Сгреб ее, барыню-то Колтовчиху, за волосы да как мякнет на землю. Только каблук сбрякали. А он еще в рожу ей ногой-то.

Ну, тут суматоха поднялась. Господишки на Марка бросились, стражник шашку свою вытащил. А барыня знай визжит: «Живьем берите! Живьем берите!» Господам, конечно, не под силу этого человека живьем захватить. За пожарниками кинулись, а други опять в кабак побежали за народом. Выбежали пожарники, а народ им наперерез бежит, и Онисим впереди всех. Заздыхался весь, а сам заплотинной машет. Сажени, поди, три заплотина-то. «Зарежу,—кричит,—кто Маркушку пальцем заденет!» Ну, господишки видят, дело худое, наутек надо. Только один возьми да и пальни в Онисима. И ведь что ты думаешь, попал, собачье мясо, в самую жижику! Онисим сразу носом в землю и не встал больше. Экой могутный человек был. Гора его не сжевала, а от пульки сразу кончился.

Народ видит, Онисима убили—ище того остервенился. За баринком-то тем, который в Онисима стрелил, побегли. А тот на лошадь да по сысертской дороге. Барыня и другие господишки туда же упалили, а приказчик да начальство разбежались и неизвестно где прихоронились. Ну, пожарникам, конечно, бока намяли. Двух вовсе досмерти благословили, а которых изувечили. Не любил их народ, пожарников-то. Они, вишь, первые прихвостни у начальства были и народ в пожарной пороли. Их за это и помяли.

Через день либо через два суд-расправа в заводе началась. Городское начальство наехало, солдат пригнали. В первую голову стали Марка Береговика искать. Барыня тоже прикатила. Уж как только она не старалась! И про-

зилась и всяко людей улещала, чтоб показали, где Марка искать. Нет, ничего не вышло. Все в один голос говорят: «Откуда нам знать? Убежал куда-то и Татьяну свою уволок». Побились-побились так-то, ничего не узнали. С тем и уехали. Ну, конечно, драли кого доходи, а Марка с Татьяной в бега списали и по всем местам бумажку дали,—не поймают ли где, значит. А он, Марко-то, в нашей же даче и жил. Многие огневщики про это знали. Только против народа боялись. Сами же, слышь-ко, оповестят Марка: «На тебя-де облава собирается. Поберегись». Марко с Татьяной перейдут куда-нибудь, а как облава кончится, опять на свое место возвратятся. У них избушка в полугоре, у ключика, была срублена. Небольшая избушечка, вроде покосного балагашка.

Три зимы тут Марко выжил. Все ему охота было Колтовчиху где на дороге застукать. Только она тоже умная оказалась. После того случая вовсе не стала никуда ездить. Когда в город случится, так с ней народу—как в поход какой. А в лес либо на пруду покататься, как раньше было,—ни-ни. Она, видать, знала, что Марко ее подстерегал где-то недалеко. Корила всех. Неверные, дескать, вы слуги. Разбойников в лесах укрываете. Где у вас Марко Береговик? Кто его кормит? Каждый, понятно, отговаривался, как умел, а многие знали.

Потом уж Марко с Татьяной ушли. У них, сказывали, ребенок родился. Ну, где же с дитем в лесу жить! Хлопотно. Они и подались в Сибирь, на вольные земли. Колтовчихе об этом сказывали, да она не поверила. «Не заманите,—говорит,—меня в лес!» И тоже убралась куда-то с наших заводов.

А гора, где у Марка избушка стояла, так с той поры и зовется—Марков камень.

22. ПРИКАЗЧИКОВЫ ПОДОШВЫ

Был в Полевой приказчик, Северьян Кондратыч. Ох, и лютой, ох, и лютой! Такого как заводы стоят не бывало. Из собак собака. Зверь.

В заводском деле он, слышь-ко, вовсе не мараковал, а только мог человека бить. Который рабочий послабже, так Северьян такого с одного разу с ног сшибал. И не орудией какой, а так—голоруком. В Семеновском полку,

сказывали, служил. Понимай, значит, какой был. Хоть по Митрофанычу нашему. В огневицах-то который на Столбу-горе. Тоже попади Митрофанычу пьяному под руку—не стерпишь, как ударит. Чорт чортом, Христос с им, даром что старик. Только Митрофаныч-то вовсе в недавние годы в том полку служил, а прежде народ там еще крупнее был. Ровно лесины в ряду-то стоят. Глядеть на их—шея заболит.

Северьян в этом полку в офицерах и служил. Из бар он—Северьян-от. Свои деревни, слышь-ко, имел, да всего решил. А все из-за лютой своей. Сколько-то человек он до смерти забил, да еще которых из чужого владенья. Ну, огласка и вышла, прикрыть никак невозможно. Суд да дело—Северьяна и присудили в Сибирь либо на здешние заводы. А Турчаниновым—владельцам—это к сличью пришлось. Им такого убойцу подавай. Сразу назначили Северьяна в Полевую: «Сократи, сделай милость, тамошний народ. Ежели и убьешь кого, на суд тебя тут никто не потянет. Лишь бы потише народ стал, а то он вон что вытворять придумал». А в Полевой перед этим старого-то приказчика на калену болванку посадили, да так, что он в одночасье помер. Драли, конечно, за приказчика-то. Только виноватого не нашли. «Никто его не сажил. Сам сел. Угорел, может, либо затмение на него нашло. Хватились поднять его с болванки, уж весь зад до нутра испортило. Такая, видно, воля божья, чтоб ему сразу смерть принять».

По этому случаю владельцам заводским и понадобилось рыкало-зыкало, чтоб народ испужать.

Вот и стал убойца Северьян нашим заводским приказчиком. Он, слышь-ко, смелый был, а все ж таки понимал,—завод не деревня, больше опаски требует. Народ, вишь, завсегда кучкой, место тесное да еще у огня. Всякий с орудием какой-нибудь... Клещами двинуть может, молотком садануть, сгибнем либо полосой брякнуть, а то и плахой ахнут. Очень даже просто. Могут и в валок либо в печь головой сунуть. Угорел-де, подошел близко, его и затынуло. Подкарили же того приказчика!

Северьян и набрал себе обережных. Откуда только выкопал. Один другого могутнее да отчаяннее. Братцы-хватцы из Шатальной волости. С этой оравой и ходил по заводу. Впереди сам идет. В руке плетка в два перста толщиной, с подвитым кончиком. В кармане пистолет, на четыре

ствола заряженный. Пистончики надеты, только из кармана выдернуть. За Северьяном шайка идет. Кто с палкой, кто с саблей, а кто с пистолетом тоже. Чисто Иван Грозный в поход срядился.

Первым делом уставщика спрашивает: «Кто худо робит?» Тот уж знает, что ладно про всех сказать нельзя, сам под плетку попадешь—потаковщик-де. Вот и начинает уставщик вины выискивать. На ком по делу, на ком—по пасердке, а на ком и вовсе зря. Лишь бы от себя плетку отвести. Наговорит так-то на людей, приказчик и примется лютовать. Сам, слышь-ко, бил. Хлебом его не корми, любил над человеком погальтаться. Такой уж характер имел. Убойца, одним словом.

В медну гору сперва все же таки не спушался. Без привычки-то под землей страшно, хоть кому доведись. Главная причина—потемки, а свету не прибавишь. Хоть сам владелец спустился, ту же блёндочку дадут. Разбери, горит она али так только вид дает. Ну, и мокреть тоже. И народ в горе вовсе потерянный. Такому что жить, что умирать—все едино. Безднадежный народ, самый для начальства беспокойный. И про то Северьян слышал, что у медной горы своя хозяйка есть. Не любит будто она, как под землей над человеком измываются. Вот Северьян и побаивался. Потом насмелился. Со всей своей шайкой в гору спустился. С той поры и пошло. Ровно еще злости в Северьяне прибавилось. Раньше руднишных драли всегда наверху, а теперь нову моду придумали. Приказчик плетью и чем попало прямо в забое народ бьет. Да каждый день в гору повадился, а распорядок у него один—как бы побольше людям худо сделать. Который день много народу избьет, в тот и веселее. Расправит усы свои да и хрипит руднишному смотрителю: «Ну-ко, старый хрыч, приготовь к подъему! Пообедать пора, намахался».

С неделю от так-то хозяйсвал в горé. Потом случай и вышел. Только сказал руднишному смотрителю: «Готовь к подъему!»—вдруг голос, да так звонко, будто где-то совсем близко: «Гляди, Северьянко, как бы подошвы деткам своим на помин не оставить!» Приказчик схватился—кто сказал. Повернулся на голос, да и повалился, чуть ноги не переломал. Оне у него как прибитые стали. Еле от земли оторвал. А голос женский. Сумленье тут приказчика и взяло, а все ж таки виду не показывает. Будто

ничего не слышал. Северьянова шайка тоже молчит, а выдать, приуныла. Эти сразу сметили: сама погрозилась. Одно невдомек—о подошвах разговор.

Вот ладно. Перестал приказчик в гору лазать. Вдохнули маленько рудинишные, только не надолго. Приказчику, вишь, стыдно—вдруг рабочие тот голос слышали да теперь и посмеиваются про себя: струсил-де Северьян. А это ему хуже ножа, как он завсегда похвалялся—никого не боюсь. Приходит так-то в прокатную, а там кричат: «Эй, подошвы береги!» Это у них присловье такое. Упредить, значит, кто зазевался. А приказчик свое думает: «Они надо мной смеются». Шибко его тем словом укололо. Не стал и человека искать, который про подошвы кричал. Даже никого на тот раз не избил, а стал посередке прокатной да и говорит своей-то орде: «Что-то мы давненько в горе не были. Надо там за порядком доглядеть. Туда сейчас пойдем».

Спустились в гору. И такая на приказчика злость накатила, как еще не бывало. Походя всех лупит. Все ему показать-то охота, что никого не боится. И вот опять тот же голос: «Другой раз, Северьянко, тебя упреждаю. Пожалей своих малолетков. Подошвы им только оставишь!»

Приказчик на голос повернулся и повалился, как тот раз. Ноги от земли оторвать не может. Глядит, а оне чуть не на вершок в породу вдавились, хоть каёлкой обивай. Вырвал все ж таки, только сапоги спереду оскалились,—подошвы отстали. Притих приказчик, а как наверх поднялись, опять осмелел. Спрашивает своих-то: «Вы слышали что в шахте?» Те говорят: «Слышали».—«А видели, как ноги у меня прилипли?»—«Видели»—отвечают. «Как думаете, что это?» Ну, те мнутя, понятно, потом один выискался и говорит: «Не иначе, это медной горы хозяйка тебе знак подает. Грозится вроде, а чем—непонятно».—«Так вот,—говорит Северьян,—слушайте, что я скажу. Завтра, как свет, в гору приготовьтесь. Я им покажу, как меня пужать да бабенку в горе прятать! Все штольни-забой облажаю, а бабенку ту поймаю и вот этой плеткой с пяти раз дух из нее вышибу. Слышали?»

И дома перед женой этак же похваляется. Та, женским делом, в слезы: «Ох да ох, поберегся бы ты, Северьянушко! Хоть бы попа позвал, чтоб он тебя оградил». И верно, попа позвала. Тот попел-почитал, образок Северьяну на шею повесил, пистолет водичкой покропил да и гово-

рит: «Не беспокойся, Северьян Кондратич, а в случае чего читай «Да воскреснет бог».

На другой день на свету вся приказчикова шайка к спуску явилась. Помучнили все, один приказчик гоголем похаживает. Грудь выставил, плечи поднял, и глядят—сапоги на нем новешенькие, как зеркало блестят. А Северьян плеткой по сапожкам похлопывает и говорит: «Еще раз оборвут подошвы, так покажу руднишному смотрителю, как гризь разводить. Не погляжу, что он двадцать лет в горе служит, спущу и ему шкуру. А вы первым делом старайтесь бабенку эту углядеть. Кто ее поймает—тому пятьдесят рублей награда».

Спустились, значит, в гору и давай везде шнырять. Приказчик, как обыкновенно, впереди, а орава за ним. Ну, в штольнях-то узко, они цепочкой и растянулись один за другим. Вдруг приказчик видит—впереди кто-то маячит. Так себе легонько идет, блёндочкой помахивает. На повороте видно стало, что женщина. Приказчик заорал: «Стой!»—а она будто и не слышала. Приказчик за ней бегом, а его верны слуги не шибко торопятся. Дрожь на их нашла. Потому, видят, неладно дело: сама это. А назад податься тоже не смеют—Северьян досмерти забьет. Приказчик все вперед бежит, а догнать не может. Лается, конечно, всяко, грозит, а она и не оглянется. Народу в той штольне ни души. Вдруг женщина повернулась, и сразу светло стало. Видит приказчик—перед ним девица красоты неописанной, а брови у ней сошлись и глаза как уголья. «Ну,—говорит,—давай рассчитаемся, убойца! Я тебя упреждала—перестань, а ты что? Похвалялся меня плеткой с пяти раз забить? Теперь что скажешь?»

А Северьян вгорячах кричит: «Хуже сделаю! Эй, Ванька, Ефимко, хватай девку, волокни ее сюда, стерву!» Это он своим-то слугам. Думает, тут они, близко, а сам чует—ноги у него опять к земле прилипли. Уж не тем голосом закричал: «Эй, сюда!» А девица ему и говорит: «Ты глотку-то не надрывай. Твоим слугам тут ходу нет. Их и в живых-то сейчас многих не будет». И легонько этак рукой помахала. Как обвал сзади послышался, и воздухом рвануло. Оглянулся приказчик, а за ним стена—ровно никакой штольни и не было. «Теперь что скажешь?»—спрашивает хозяйка. А приказчик,—он шибко ожесточенный был да и попом обнадеженный,—выхватил свой пи-

столет: «Вот что скажу!»—и хлоп из одного ствола в хозяйку-то. Та пульку рукой поймала, в коленку приказчику бросила и тихонько молвила: «До этого места нет его». Как приказ отдала. И сейчас же приказчик по самое колено зеленью оброс. Ну, тут он, понятно, взвыл: «Матушка-голубушка, прости, сделай милость. Внукам-правнукам закажу. От места откажусь. Отпусти душу на покаянье!» А сам ревет, слезами уливается. Хозяйка даже плакнула. «Эх, ты,—говорит,—погань, пустая порода! И умереть не умеешь. Смотреть на тебя—с души воротит». Повела рукой, и приказчик по самую маковку зеленью зарос, как глыба большая на его месте стала. Хозяйка подошла, чуть задела рукой, глыба и свалилась. Провела хозяйка рукой по нижней-то стороне и сама как растаяла. Темно стало.

А в горе, слышь-ко, переполох. Ну как же—штольня обвалилась, а туда приказчик со всей своей свитой ушел. Не шутка дело. Народ согнали. Откапывать стали. Наверху суматоха тоже поднялась. Барину в Сысерть нарочного послали. Горное начальство из городу на другой день прикатило.

Дня через два отрыли приказчиковых-то слуг. И вот диво! Которые хуже-то всех были, те все мертвые, а кои хоть маленько стыд имели, те только изувечены. У кого ребра подавлены, у кого руки-ноги поломало. А этот, который про хозяйку-то приказчику говорил, и вовсе пустяком отошел. Ему только три перста, и то на левой руке, отдавило.

Всех нашли, только приказчика нету. Потом уж докопались до какого-то неведомого забоя. Глядят, а на середине глыба малахиту отворочена лежит. Стали оглядывать ее и видят,—с одного-то конца она шлифована. Что, думают, за чудо? Кому тут малахит шлифовать? Стали хорошенько разглядывать, да и увидели—по середине шлифованного места две подошвы сапожные. Навехоньки подошвы-то. Все гвоздики на них видно. В три ряда.

Довели об этом до барина, а тот уж старик тогда был, в шахту давно не спускался, а поглядеть охота. Велел вытаскивать глыбу, как есть. Сколько тут битвы было! Подняли все-таки. Старый барин как увидел подошвы, так даже в слезы ударился: «Вот-де какой у меня верный слуга был!» Потом и говорит: «Надо это тело из камня вызволить

и с честью похоронить». Послали сейчас же на Мрамор за самым хорошим камнерезом. А там тогда Костоусов на славе был. Из камня цепочки цельные вытачивал, яичную скорлупку пустую из камня делал. Ну, и другие штуки такие. Одним словом, мастер. Привезли его. Барин и спрашивает: «Можешь ты тело из камня вызволить и чтоб тела не испортить?» Мастер оглядел глыбу и говорит: «А кому обой будет?»—«Это,—говорит барин,—уж в твою пользу, и за работу заплачу, не поскуплюсь».—«Что ж,—говорит,—постараться можно. Главное дело, материал шибко хороший. Редко такой и увидишь. Одно горе—дело наше мешкотно. Если сразу до тела обивать, дух, я думаю, смрадный пойдет. Сперва, видно, надо оболванить, а это малахиту потеря». Барин даже огневался на эти слова: «Не о малахите,—говорит,—думай, а как тело моего верного слуги без пороку добыть».—«А это,—отвечает мастер,—кому как». Он, вишь, вольный, Костоусов-то, был. Ну, и разговор у него такой.

Срядились все ж таки с барином. Стал Костоусов мертвяка добывать. Оболванил сперва, малахит домой увез. Потом стал до тела добираться. И ведь что? Не оказалось тела-то. Вместо Северьяна пустая порода одна. Где тело либо одежда были, там все пустая порода, а кругом малахит первосортный.

Барин все ж таки эту пустую породу велел похоронить, как человека. А мастер Костоусов жалел: «Знатье бы,—говорит,—так надо бы глыбу сразу на распил пустить. Сколько добра сгубло из-за приказчика-то, а от него, вишь, что осталось! Одне подошвы!»

23. СКАЗКА О КУПЦЕ СЕМИГОРЕ, ДОЧКЕ ЕГО НАСТЕНЬКЕ И ИВАНЕ БЕГЛОМ

Жил купец Семигор. Семь гор было у Семигора. Одна гора—золотая гора, другая гора—платиновая гора. Одна гора—руда медная, другая гора—руда железная. Одна гора—хрустальная, другая гора—гора мраморовая, а седьмая гора—Ильмен-гора—самоцветная.

Семь дочек было у Семигора. Шесть, как одна: станом высокие, лицом румяные, глаз с поволокой, волосом черные. А седьмая—Настенька—дочка любимая, тоненькая, как тростиночка, личико беленькое, волосики будто

паутиночки осенние на солнышке светятся, а глаза, как вода Ильмен-озера, тихие да светлые.

Семигор дочкой не налюбуется, не нахвалится, никуда от себя Настеньку не отпускает. Для дочек старшеньких выбрал в зятя себе шесть молодцов здоровых, сильных да ему, Семигору, послушных. Послал Семигор зятьев своих с дочками на шесть гор своих за работами присматривать: одного зятя послал на золотую гору, другого на платиновую, одного на гору руды медной, другого на гору руды железной. Одного на гору хрустальную, другого на гору марморовую. Сам Семигор с дочкой любимой Настенькой на Ильмен-горе остался.

Всеякие камни-самоцветы были у Семигора: шерла черная, берилы и крезалиты зеленые, желтяки и тяжеловесы разные. Всеякие камни ему горщики носили, а для дочки Настеньки в шкатулочке из орлеца розового на счастье александрит, камень красоты неописанной, лежал. Не было только у Семигора камня как вода озерная—тихая, как глаза Настеньки, дочки любимой, синие. Дошел до Семигора слухок, что участливилось горщику одному у Аргаяш-озера в шахте изроленной кристаллы синие найти. Сейчас Семигор рабочих в шахты посылает кристаллы искать. Много он людей загубил—не один под землею смерть свою нашел. Люди от Семигора прячутся, с Ильмен-горы бегут. Свои бегут, а Семигор чужих перенимает.

Стоит это раз Семигор с дочкой Настенькой на полянке, где дороги крестом сходятся, беглых работничков поджидает. Видит, Иван Беглый идет. Лопотина на нем никудышная, а собою молодец, и лицом и станом; идет, по сторонам не глядит. Остановил его Семигор, стал на работу нанимать. Настенька взглянула на парня и глаз от него не отводит. То ли сила чудесная в Иване Беглом была, то ли Иван ни на кого похожий был, только привязал он сердце Настеньки к своему сердцу крепко-накрепко. Стала Настенька Семигора просить Ивана Беглого за камнем не посылать, на Ильмен-горе оставить. Но сколь она ни плакала, сколь ни просила, а Семигор Ивана Беглого на Ильмен-горе не оставил, подальше от дочки любимой отправил—самоцвет синий искать—и приказчику своему верному наказал: Ивана Беглого в горе навечно держать.

Спустили Ивана Беглого в шахту, забой ему отвели хуже некуда. Думал Иван Беглый, что не видать ему

больше света божьего и Настеньки, Семигоровой дочки. Только, видно, другое на роду ему было написано. Укараулил Иван Беглый времячко, выбрался крадче из шахты и в лес подался.

Перебрался через гору. Вечер подошел, ночь настала. Выбрал Иван Беглый местечко по другую сторону горы—лег на травку. В лесу тихо. Стал он спать собираться, только слышит, треск в горе. Грозы нет, а гора трещит. Вдруг из горы звездочка засветилась, полосой пронеслась и в кустах спряталась и опять на травке зажглась. Потом другая, третья в горе засветится, засверкает полосой, к кустам побежит, скроется и в траве огнем горит, переливается. Тут луна взошла. Видит Иван Беглый бурундучок бежит и в зубах у него камушек самоцветный сверкает. Выбегает бурундучок из трещины в горе, камушек за камушком выносит самоцветы и кладет их в лесу на полянке. Большую гору наносил. Под утречко свистнул бурундучок, сбежались бурундучки со всех концов, каждый самоцвет в зубы взял, и в разные стороны побежали огоньки ясные—горку самоцветную всю разнесли.

Иван Беглый дальше не идет, хочет ночи дожждаться—может, опять бурундучок самоцветы из горы носить будет. Днем Иван Беглый в лесу скрывался, а ночью опять в то самое место к горе пришел. Опять, как и в первую ночь, в горе затрещало и бурундучок стал самоцветы из горы таскать, кучу на поляне складывать. Иван Беглый днем лук согнул и стрелы острые выстругал. Дождаясь, когда луна вышла, натянул лук и спустил стрелу. Упала стрела около бурундучка. Опять натянул Иван Беглый лук, а бурундучок человеческим голосом говорит Ивану Беглому:

— Не зарися, Иванушка, на камни самоцветные. Заклятье на них положено, тебе от них счастья не прибавится, а послушай, что я тебе присоветую. Пойди ты к купцу Семигору, расскажи ему про камни самоцветные и проси у него в награду тебе вольную выдать и коня доброго дать. Только не забудь: как покажешь Семигору камни, что в куче на полянке лежат, больше ни о чем не заботься, скорей на коня садись, не задерживайся, на Семигору не оглядывайся.

Сделал Иван Беглый все, как бурундучок приказал. Как услышал Семигор про камни самоцветные, сейчас

велел вести себя к горе. Обещал Ивану Беглому вольную дать, когда своими глазами самоцветы увидит. Только хитрющий Семигор: Ивану Беглому ничего не сказал, а приказчикам своим наказал: «Если в полночь назад не вернуся, значит, беда со мной приключилась, идите выручать». Взял с собой управителя верного и коня для Ивана Беглого. Пришли они ночью к горе. Семигор коня в кустах привязал, сам вольную в руках держит. Стоят они трое у горы. Иван Беглый и говорит: «Ну, теперь, Семигор, давай вольную, сейчас самоцветы увидишь!»—и повернул его лицом к полянке, а полянка от самоцветов так и светится, огнем переливается. Семигор с управителем совсем ума решились. Сунули Ивану Беглому вольную и к куче бросились.

Тут бурундучок свистнул. Ивану бы на коня да из лесу вон, а он забыл, что бурундучок ему наказывал, охота было узнать, что дальше будет. Видит: Семигор с управителем над кучей самоцветов согнулись, руки в камни по локоть засунули, да так камнями и стоять остались. У Ивана Беглого от страха и ноги отнялись—глазам своим не верит, а когда в себя пришел, тут видит—люди кругом. К Семигору на выручку идут. Не послушался Иван Беглый бурундучка, а бежать поздно. Окружили его, стали спрашивать, где Семигор. Иван Беглый на три каменных горки показывает: «Вот,—говорит,—Семигор». Люди смотрят, три камня—два над третьим склонились. Не поверили Ивану Беглому, связали его, стали пытаться мучить, а он свое показывает. Так и замучили Ивана Беглого.

А Настенька, дочка Семигора любимая, ждет—не дождется Ивана Беглого. Ходит она по Ильмен-горе, подойдет к шахте заброшенной и плачет. И первые слезы ее были прозрачные, будто вода озерная тихая, а потом со слезами стала выплакивать глаза свои синие. Так и изошла слезами. Позже люди нашли эти слезы и первые слезы прозвали аквамаринами, а вторые сапфирами.

24. МЕДВЕЖИЙ ОГРЫЗОК

Был на золотых промыслах управителем молодой офицер царевой службы, холостой, из себя видный такой, статный, красивый. Молодой еще был. Ничего был управитель, народ обижал, но не больно. Больше все по

девкам да бабам охотился. Ну, а смотритель, тот подлый был, прямо сказать, во всем были старатели от него. До баб и девок сластена: что муха на сахар лезет, а сам невидный, лысый и лютый страсть.

Бывало, увидит девку, поглянется она ему, проходу не дает, пока своего не добьется, а коли девка поровистая, отца во корень разорит, с делянки прогонит и отведет такой участок, что камень на камне, а золота росинки нет. Ну, и взвост девка—пойдет ночевать к смотрителю-старика.

Старатель тут один на промыслах жил, сам бедняк, семья большая, а дочь Катюша, прямо сказать, красавица. Коса черная до пят. Брови соболиные, сама статная, могучая, прямо король-девка.

Катюша робила на старанье со своим отцом, как была она одна старшая из детей. Себе цену знала, ни с кем не водилась из промысловой молодежи и смотрителя отшибла. Тот день-денской простаивал у станка, на котором мыла золото Катюша с отцом. «Не про тебя писана!»—говаривала девка. А смотритель свое: «Ой, девка! Все едино, моя будешь!» Отцу Катюшину так и сказал: «В последний раз говорю: припили Катюшу ко мне—озолочу, а не то...» Тут и без слов понять было можно, чего ждать-то.

Отец смиренный был. Только это в праздничный день увидел Катюшу управитель и крепко за сердце взяла его она. И недолге-невкоротке, а Катюшу забрали в дом управителя. Смотритель остался ни с чем, но что тут сделаешь,—лбом стены не расшибешь.

Катюша попервоначально была в услужении у управителя, а потом уж вроде как бы и женой его. Не устояла против барина, где уж тут устоять девке! И барин собой ладный, и подарки не последние: ленты там, перстни—всякая девичья приманка.

Управитель приказал смотрителю отвести делянку с богатым золотом отцу Катюши. А золото-то отцу Катюши да матери ее было костью в горле, стыдобушкой, потому соседи начали смеяться, завидовать и злобиться да изгаляться, особенно над матерью Катюши. Но делать неча—барин, он и бог и царь на промыслах—ничего не поделаешь. Так-то. Попивать стал Катюшин отец. С горя одну выпивает, а золото другую подливает.

Еще до Катюши у управителя жила экономка, и говорили люди, что даром она пожилая была, а жил с ней вроде

как с женой управитель-то, и привез он ее с собой на промыслы из самого Петербурга. Затаила она на Катюшу злобу, когда стала та хозяйкой в доме управителя.

А у барина кучер был Михайло, парень молодой, первый плясун. Гуляла с Михайлой Катюша еще до барина.

Михайло, как увидел Катюшу у барина, запил с горя. Стал по кабакам буяннить, навовсе пропал парень. Как напьется, грозиться начнет: «Сгубил меня барин с Катюшкой, попомнит он меня».

Только не долго нажила так-то Катюша у барина-управителя. Был у управителя большой сад, а в саду в железной клетке медвежонок держали.

Медведя кормил завсе Михайло и ухаживал за ним, когда жил еще у барина в кучерах, а после Михайлы приставили к нему лакея, но у него никак медведь пищи не хотел брать и близко не подпускал. Особливо не любил медведь Катюшу. Как выйдет она в сад, медведь сейчас начнет трясти клетку и железные прутья. Даром медведь, а чуял, что из-за Катюши Михайло ушел.

Однако управитель отлучился по приискам. Катя вышла в сад да и присела на скамейку около беседки. Сидит, вяжет. Прошло мало ли, много ли времени, только слышит Катюша: за спиной урчит. Катюша оглянулась и обомлела. За ней медведь на задних лапах стоит.

Катюша закричала, набежали на крик ее дворовые люди, а он уже облапил Катюшу. Отогнали медведя и заперли его в клетку. Как потом дознались, клетку экономка отперла и выпустила медведя—погубить Катюшу хотела. Жива-то Катюша осталась, но от прежней красоты и следа не осталось. Помял ее медведь.

Ну, а без красоты кому она годна? Управитель отправил ее к отцу, дал ей денег, все наряды дареные и золотые кольца и серьги.

Катюшу выдали замуж за соседа вдовца, старателя, — драчун и пьяница был. Тут и началась для Катюши не жизнь, а мука мученская. После венца родня мужа повела Катюшу по улицам, одели на шею хомут—гулящая, значит. Пьяные сродственники с мужниной стороны давай всячески галиться над Катюшей и всячески ее обзывать: «медвежий огрызок», потаскуха и разные другие слова. Житья не стало, и заступы никакой.

Михайло тут бросил пить и пришел с повинной к барину,—проситься обратно кучером.

Кучер Михайло был—такого не сыскать. Барин взял его обратно. Ну, ездют они с баринком. Михайло все, как полагается по кучерскому положению, ведет и того медведя кормит. Только много ли, мало ли времени прошло, а медведя того однава дня нашли неживым—закололи его, а кто, неведомо.

Невдолге и управителю конец пришел,—рассчитался с ним Михайло.

Ехали они с баринком мимо шахты. Давно уже брошена была, водой залилась. Михайло остановил лошадей, соскочил с козел и к барину. Нож выхватил.

— Мишку я заколол, барин. Теперь твоя пора—рассчитаться за Катюшу.

Барин слова не вымолвил—Михайлов нож прямо в сердце ему угодил. Упал барин замертво, и тело его Михайло в шахту бросил.

Михайлу на другой день задержали далеко от приисков, верст за сорок, судили и сослали на вечную каторгу.

А Катюша с горя да стыдобушки вовсе ума-разума лишилась. Говорят люди, место она себе все искала—по приискам ходила да по лесу, страшная, волосья нечесанны, оборватая.

Старателям жалко ее было, они ее кормили, согревали в балаганах. Так «медвежьим огрызком» ее и прозвали. Все просят: «Ты бы, медвежий огрызок, показала какую богатимую делянку! Знаешь, где золото лежит, высмотрела, ходячи по приискам».

Случилось, встретила Катюша старателей, поглядела на одного,—молоденький еще был,—отошла от балагана шага на два и ногой топнула:

— Здесь золото!—улыбнулась и ушла.

Старатели засмеялись, а тот—молоденький—тут же и пробу ваял.

С первого ковша намылось двенадцать золотников.

К вечеру мужики с десятка воев песку взяли без мала фунт золота на пять паев.

Хватились Катюши, а ее и след простыл. Старатели отыскиали в лесу, в больших камнях, в горе Катюшу и повезли по приискам.

Не всем Катюша место, где золото, указывала,—только ежели укажет, там и золоту быть. Все ей открыто было. Сила такая ей за ее загубленность была дадена.

И зимой по лесу она все бродила. Только не долго ей,

голубушке, жить довелось. Старатели ехали в субботу домой и на дороге увидели—лежит Катюша, зачоченела уже, и снегом ее занесло.

Всем селом хоронили старатели Катюшу, и не мало тут вою да слез пролито было над покойницей.

Помнят ее и до сей поры.

25. БУНТ

Это было вскоре после приезда на золотые промыслы Миасса царя Александра I—на Царево-Александровском прииске.

На прииске в те времена был смотрителем жестокий человек Шлыкин.

Рабочие его боялись, как огня, но и были злы на него, потому, этот Шлыкин много народу извел, и по его вине не мало людей сгинуло под плетью палача и на вечной каторге.

Тогда на золотые промыслы рабочие сгонялись отовсюду и назывались они ссыльные, а также множество было беглых каторжан солдат, эти были закованы в цепи.

На лбах кандальников были жженые клейма, уши рваные и ноздри тоже.

Жили рабочие по летам у промылов, под открытым небом, а зимой—в сараях-бараках на Каскине, в двух верстах от прииска,—там были приисковая контора и хозяйские промысловые склады.

Закроют на замок рабочих в бараке, поставят парашу, а у дверей, снаружи часового. Как в тюрьме.

Кормежка была: щи капустные, фунт хлеба да кипяток.

Жили рабочие плохо. В бане по-месяцам не мылись, а работали по целому дню с утра до вечера.

В то время в шахты не лезли, казне золота хватало наверху земли.

Инструмент был: кайло, лопатка, желомейка и насос деревянный.

Приходилось, что работали по колена в воде, в низких местах. Тут люди гибли, как мухи, потому, босые, в неможной одежине, простужались, болели и умирали, помощи никакой не было. Докторов или лекарств и в помине не было.

Едет это раз смотритель по промысловым работам, а рабочие как раз обедали тут же около промывок.

Сидят вокруг больших ведер деревянных и хлебают хлебово.

И как раз разломил один контрашный татарин кусок хлеба, а в нем мышонок запеченный. Татарин, конечно, тоже человек и мышей не ест.

Гвалт поднялся.

Были в то время вятские мужики, по договору работали на прииске. Этим больно трудно было после деревни на промыслах. К рабочим подъехал Шлыкин и кричит:

— Что за шум? Молчать!

— Чаво ж это? Мышами кормите! Мы, чай, не скотина! Нанимали—то говорили, а теперича—другое! Мы не каторжные, на мышах робить не будем.

И все обступили смотрителя, а татарин сует ему кусок хлеба, из которого мышиный хвост торчит.

Смотритель знать ничего не хочет, кричит свое:

— Чего орете! Выброси мышь и жри!

А татарин свое:

— Не хочу ашаты! Сам ашай!

Бросил хлеб под ноги лошади смотрителя:

— Вот твоя хлеб! Моя не каторжный. Нит! Не буду робить.

Татарина вятские поддержали.

— Переписать всех!—приказал смотритель штейгеру.— А вечером, если не будут работать, доложить мне!—коня пришпорил и уехал.

Эта партия рабочих приступила к работе, потому, кучка маленькая, а тут еще солдаты вооруженные и казаки с нагайками.

Хлестанули одного-двух казаки нагайками, ударили прикладами солдаты в спину,—поневоле будешь работать.

Шлыкин дальше поехал, лютует, сам не свой. А тут случись увидеть ему в одной кучке рабочих на промывке пятно красное.

Подъехал ближе, а это рубаха красная на парне молодом. В те времена боже упаси, коли начальство увидит на ком фабричного изделия одежину,—значит, золото украд рабочий, не иначе.

Потому заработка еле хватало на харчи рабочему, а если и оставались гроши, то на них не заведешь красную рубаху.

Велел выпороть смотритель парня.

— Будет знать, как на краденое золото рубахи красные заводить.

За сына вступился отец-старик:

— Помилуйте,—говорит,—ваше благородие! Рубаха-то уж полиняла, парень непьющий у меня, ну, и скопил на рубаху. Молодой, погулять охота.

Лучше бы и не говорил. Заодно с сыном избили.

А на другой день утром пятьсот вятских мужиков и несколько кандалников отказались работать. Вятские свое:

— Давайте паспорта! Домой уходим!

А кандалники свое:

— Все равно подыхать! Не будем работать! Давай управителя!

— А! Не будете? Ладно!—и скомандовал смотритель казакам и офицерам взять бунтовщиков по фамилии Бушмакова, Кондратьева, Ягомата Валиева и Курочкина.

Но рабочие не дали. Двинулись на стражу и офицеров с смотрителем, прямо лавиной прут.

Те едва успели добежать до часовни—памятника в честь приезда Александра I—и заперлись.

Но Шлыкин раньше смекнул, в чем дело, послал гонца в Миасс с донесением.

Из Миасса только к вечеру прискакала сотня казаков, и Бушмакова, Кондратьева, Ягомата и Курочкина забрали и заперли на замок.

Рабочие работать отказались—и их также набили битком, в зимние бараки на Каскине и заперли под замок, часовых приставили.

Три дня держались рабочие—не выходили на работу.

На четвертый день приезжает из Златоуста на прииск губернатор с управителем горным.

Перво-наперво, конечно, поговорили со смотрителем Шлыкиным.—начальство высокое. А разговор их был такой:

— Чтоб не было повадно другим, выпороть вожakov!

Без всякого следствия губернатор написал в конторе приказ:

«За подстрекательство к бунту провести сквозь строй вожakov...»

Вывели рабочих из барakov—вышел губернатор с управителем.

— На что жалуетесь? Почему праздню лежите?

— Нас обманули, ваше сиятельство! Заморили! Домой хотим!

— Подать мне пищу, коей кормите рабочих!—скомандовал губернатор.

А щи мясные, каша и хлеб—все было: смотритель приказал на этот раз отменно приготовить.

Попробовал губернатор щи и гаркнул:

— Выпороть зачинщиков!

Рабочие двинулись вперед, кричат:

— Это обман! Мы до царя дойдем!

Губернатор с управителем вскочили в карету—и в Миасс.

На другой день, на полянке около Каскина, выстроили всех рабочих и на кругу провели сквозь строй вожakov по «зеленой улице».

Бушмаков—вятский, горячий, ндравный мужик, прошел первым,—получил сто ударов розог под барабанный бой.

Кондратьев—мальчишка лет восемнадцати, он падал, его отливали водой и опять били.

Курочкин Аким был больной кандальник, бежал он с Златоустовского завода. Кровь у него горлом шла. Его забили насмерть.

Ягомат—башкирец здоровый, когда пошел по «улице», крикнул: «Все равно работать не буду!» Ему башкиры товарищи ответили из рядов:

— Не будем! Терпи, Ягомат!

Ну, и пзибили Ягомата шибко—дополусмерти.

А тело Акима Курочкина закопали казаки в кустах около Каскина.

Пришлось рабочим приступить к работе.

Вскоре Бушмаков, Ягомат и Кондратьев бежали вместе с дочерью Акима Курочкина с прииска.

Их нагнали в Ильменских горах казаки, за Миассом.

Бушмакова, Ягомата застрелили, а Кондратьев с Аксюткой бежали неизвестно куда.

26. БЛЮМОВСКИЙ РАЗРЕЗ

Старики рассказывали—давно это было, может, сто лет, а то, может, и больше, ишло при казне. На Миасских золотых промыслах рабочего-старателя начальство

на земляной работе по двадцать часов в сутки морило, а кормили хуже своих собак охотничьих.

Был втапору управителем Миасских золотых казенных промыслов генерал Блюм, такая изъедуга, что страсть.

Старик вовсе седой, во рту одни пенечки торчат, и завеся от него винищем разит, прямо бочка винная. Глазом искося глядит и усы свои покручивает.

Был он смертным боем рабочих самолично, а то прикажет казакам-стражникам или палачу стегать розгами, кто в чем провинится. На заводах свои каты, палачи, значит, были.

Ну, известно, рабочие на этого генерала шибко зуб грызли, потому, жисти от него не было, хоша в петлю головой.

На Царево-Александровском прииске, он-то сейчас Ленинским прозывается, по приказу генерала были поставлены беглые кандалники, разрез проходить, значит, углубку в почву. На том месте богатимое было золото.

Работа тяжелая, порода щебнистая; пески брали прямо из-под камня. Рабочие камень окопают и выворачивают. Тут и песок промывали около разреза, на желомейках. Вода к промывке по канавке с горы стекалась.

Генерал, почитай, кажинный день наезжал из Миасса на прииск осматривать работы в разрезе.

Вот на этом разрезе случилось такое, что крепко в памяти припечаталось; посейчас старики памятают, а мне о том покойный отец рассказывал.

Кончили раз поверку. Кандалники полностью налицо оказались. Спустились они один за одним в глубокий ров и стали всяк к своему месту. Одни в забой, другие к станкам-желомейкам, третьи к тачкам, чтобы пески к промывке подвозить.

Разрез казаки верхом вокруг оцепляли, а у каждого станка-желомейки и внутри разреза солдаты с ружьями стояли, такое заведение было.

Станки-желомейки все на замках и сургучными печатями припечатаны, чтобы золото рабочие не крали.

Попшла работа. Известно, отстал кто, того казак живо нагайкой по спине огреет.

Кандалниками работали не то Степан, не то Силантий по имени, хорошо не припомню, а другой Петр. Говорили, будто Степан лет двадцать назад робыл на Царево-Алек-

сандровском приiske, да бежал после бунта приiskового в Сибирь, и поймала его облава казачья вместе с Петром в лесах и пригнала опять же на этот самый прииск.

Только о том, что Степан бывал на Миасских промыслах, никто не знал, окромя его дружка Петра.

Петр на этом самом Царево-Александровском приiske робил, и смотритель враз его узнал и велел выпороть.

Избили Петра до бессознания и, как малость оклемался, опять-таки робить заставили. А то раньше их со Степаном отхлестали в пожарном сарае, в Миассе; поймали их, толку никакого не добились «кто и откуда», и пригнали на прииск.

У Петра штаны и рубаха присохли к болячкам и при работе больно донимали. Петр только скорчегал зубами. А еще вошь болячки разъедала.

А тут смотритель возьми и поставь Петра возить к промывке в тачке песок.

Настил из деревянных плах, неровный, а по нему катить тачку надо в крутой подъем из разреза к промывкам, и коли не станет сил и тачка встрянет колесом промеж плах, враз казак—хлест по спине. А тут еще лихорадка его донимала. Степан хотел дружку помочь оказать: его к станку поставил, а сам тачку возить стал.

Казак это заприметил и ожег нагайкой Степана; тот вываливал песок из тачки у станка.

Пришлось Степану встать к станку.

А тут сам генерал катит с казаками и смотрителем. Казак это сейчас: «Смирно!»

Вылез генерал из коляски, косит шарами, ус крутит, а за ним смотритель бежит, не отстает от него. Колодники сразу заприметили, что Блюм вовсе лютый приехал—не иначе как драться будет! А Степану и того хуже: генерал на него зуб имел.

Был такой случай: Блюм осматривал работы в разрезе, и подойди это он к станку, у которого Степан стоял. Взял гальку из промывки, повел по ней своим белым платком, а на нем желтое пятно глины обозначилось. Посмотрел своим косым глазом, прихмурился:

— Плохо стараешься!

А Степан молчит, шурует песок в станке. Генерал как закричит:

— Слышишь?

Такое тут зло Степана взяло,—возьми да и скажи:

— Мы в бане, ваше сиятельство, месяцами не моемся, ничего, молчим!

Ажно захлебнулся генерал:

— Двадцать пять розог!—и прочь отошел.

Степан розги не забыл и ненавистно глядел на генерала, а того вроде как тянуло к Степану. Насупротив его станка остановился и, так это, усмехаячись, говорит:

— В бане был?

И впрямь, видать, помнил он Степана. Сам нагнулся, поднял гальку из кучи промытого песка.

— Был, ваше сиятельство! — и таково с ненавистью на генерала смотрит и стоит, оперся на черенок лопатки.

— А моешь все же отменно плохо! Сводить его еще разок в баню! И на этот раз попарить вдвое больше!—приказывает смотрителю.

Тот только рот раскрыл, Степан как размахнется лопатой да генерала по башке! Генерал и не ойкнул, свалился в лужу глины у самого станка. И таково стало тихо. Не ждали, значит, солдаты; казаки и кандальники с лопатами и кайлами стоят, не шелохнутся.

Смотритель первый крикнул, аж взвизгнул:

— Уби-и-л!—да к коляске.

Но тут солдаты и казаки на Степана набросились, один ружье на него наставил.

— Стреляй!—говорит Степан,—все одно подыхать! Душу хошь отвел. Гадюку эту изничтожил!—и лопату бросил.—Прощайте, други-товарищи!..

Набросились казаки на Степана. Да тут загудели рабочие, шелохнулись, кайлы и лопаты в руки—и двинулись из разреза.

— В ружье! Цепь округ!—кричит командир.

Затворами щелкают, и солдаты ружья в разрез на рабочих наставили.

— Вертай назад! Стрелять будем!

Что тут делать—лопаты да каежки ружья не перетянут. Остановились, смотрят, как руки Степану скрутили и повели под коивоем в сторону Каскина.

Мертвика-генерала казаки положили в коляску и в Миасс повезли.

Что со Степаном сделали, не дознался никто. А только одна его судьба: то ли каторга вечная, то ли смерть принял.

В некотором царстве, в некотором государстве, а именно в том, в котором мы живем, жил-был человечина один. С виду невзрачный, ростом незавидный, а просто так: пузо с картузом.

А в том царстве-государстве текла река. Издали текла она, за тридевять земель, из тридесятого царства. Чурком чурчит вода в речке, спокойная, тихая. Чурком чурчит она и течет, поля да луга поит.

Посмотрел тот человечина на речку и думает: «И чего это она течет? И куда она течет? И зачем она течет? Сем-ка, запружу я ее да заставлю на себя робить...»

Сказано—сделано. Навалил тот человечина камней в реку, балласту, значит, хворостом реку переплел, землей-глиной обмазал.

Запрудил реку. Хитрую плотину соорудил. Стоит человечина на плотине, глядит, как вода возмущается, да говорит:

— Ничего, обойдешься...

И гуляет по плотине пузо с картузом, брюхо свое нагуленное поглаживает да картуз на маковку заломил.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Медленно течет вода в речке, а того медленней прибывает она в плотине. Однако, прибывает. Набухает русло водой, собирается у плотины воды больше да выше. Стала вода напор на плотину давать. А плотина стоит, хоть бы что.

А тем временем подбавилось воды в речке еще несколько. И, наконец, собралось ее столько, что немоготу ей мыкаться у плотины. Задыхается она в запруде. Бьется о плотину. Как живая, стонет.

Прошло еще несколько времени, и видит вода—нету ей жязни. Стала она тогда выхода искать. Стала всей своей силой на плотину нажимать, то туда, то сюда. И вот нашла в плотине слабое место и прососала ее.

Видит человечина, что делу туго. Давай латать плотину. То камней подбросит, то балласту подкинет. Только ничего не помогает. В одном месте заделает, а вода в другом прососала. Бегает человечина по плотине, кричит, суетится.

А вода в речке поднимается. Всей силой давит на плотину... Ветер с верховьев налетел, буря разгулялась, забурлила вода, волны захлестали.

Скоро, скоро прорвет вода плотину, и сметет она с земли человечину-пузо и всю его хитрую механику...

28. ЧАПАЙ

Был такой человек: рассказывают, он и роду-то был простого и маленький на вид-то, но отважный такой.

Василий Иванович Чапай все его звали. Огненная голова была, а не человек. Бесстрашный, а главное, решительный. Туча, а не человек был. Не боялся ни огня, ни холода, ни воды, ни темной ночи. Вот какой это был человек. А вот поди ж, случилась с ним беда. Войск у Чапая было много. И крошил же он беляков, прямо покоя им не давал! Только беляки вздумают передохнуть, а Чапай тут как тут, молнией несется и давай крошить, и давай крошить. Страсть как боялась его белая казара. Гонял, гонял Чапай беляков, а потом и говорит ребятам: «Хватит. Немного нужно передохнуть. Видишь, как кони устали, да закусить не мешает бойцам». Ну и вот, повернули от казары и приехали заночевать в степное городишко, что стоит на реке Урал. Приехали почти ночью, конечно, все утомились. И Чапай, наверно, тоже, только он не подавал виду.

Разместил он свое войско по квартирам, коням приказал овса дать, а бойцам заказал ужин. Покушали, и тогда Чапай говорит:

— Вот что, ребята, немного прикорните, а я тем временем подумаю над планами.

— Что ж, хорошо,—ответили бойцы.—Пошли, коли так надо.

Легли и уснули богатырским сном. Спят все, только Чапай не спит, он все над планами думает. Думал, думал, а потом вдруг слышит, собаки залаяли. Что, мол, это такое случилось, что собаки залаяли? Дай, мол, выйду посмотрю. Вышел. Ой! Батюшки! Казара-то почти совсем близко. Не долго думал Чапай, стал стрелять вверх и будить бойцов. Пока будил, пока что, а казара белая почти уже окружила и бить стала бойцов. Чапай выхватил тогда саблю, да как начнет ей крошить, прямо по

десятку враз валил беляков. Долго он чистил, а их прямо несметная туча. Тут Чапай заметил их главного казару да как хватит его по башке саблюкой, у того, конечно, голова разлетелась пополам. Но у Чапая тут случилось несчастье. Смотрит, а сабля-то переломилась.

— Плохо дело,—говорит Чапай,—беда будет, раз сабля сломалась.

Тогда он крикнул оставшимся своим бойцам:

— Отступить, ребята, к Уралу!

Покамест отступали, Чапая ранили в голову, но он и виду не подавал, одно себе: дерется врукопашную. Бьет прикладом беляков. Бил, бил и устал, крови много потерял и ослаб через это, а бойцов его уже осталось совсем мало—с десятка, тогда он говорит:

— Не сдавайся, ребята! Чапай все равно казаре живьем в руки не дастся. Прыгай, ребята, в Урал, на тот берег уплывем.

Прыгнули все и поплыли, а казара из пулемета строчит по плывущим, так всех бойцов и утопили. Остался лишь один Чапай. В него пуля не попала, и он кое-как доплыл до берега на другую сторону Урала. Немного отдохнул, а потом пошел на бухарскую сторону бойцов себе искать, чтоб потом с беляками драться. Ушел и больше не пришел. Никто его не видел. Только идут разговоры, будто жив Чапай.

КОММЕНТАРИИ К РАЗДЕЛУ «ПРЕДАНИЯ И ТАЙНЫЕ СКАЗЫ»

О ТАЙНЫХ РАБОЧИХ СКАЗАХ

В настоящем сборнике мы помещаем ряд сказок, которые рабочие-сказители называют «тайными сказами».

Рассказывая сказку, они не считают ее вымыслом. Так, Полевской сказитель Хмелинин обижался, когда его просили рассказать сказку с девке-Азовке:

— Сказка—это про пона да про попадью, про курочку и протча. Это вот сказки. А тут вовсе другое. По сурьезному делу сказ этот тайный. Его и говорить с опаской надо. Не всякому можно.

А. Б. Кузнецов, бывший рабочий Невьянского завода, сначала уверил, что никаких сказок он не знает, но когда ему прочли запись рассказа другого рабочего Ерошина о Рыжанке и Пугачеве, заявил:

— Так ты так бы и говорила: «тайный сказ». Слышал я его в Невьянске и на Уткинском заводе. Он только своим потайно говорится, а сказок я не знаю. За сказками по женскому делу обращайся, те знают.

Иногда слушатели-рабочие заставляли рассказчика изменять сюжет сказки и таким образом как бы участвовали в ее творчестве.

Я. Ерошин, рабочий семидесяти двух лет, с двенадцати лет работавший на различных уральских заводах, рассказал именно о таком воздействии слушателей на сказителя:

— Жил со мной в бараках (на Богословских рудниках) рабочий один пожилой—Косточкой его звали. Тот как начнет про атамана Рыжанку рассказывать, так раза три заставят его ребята за вечер рассказать. Дойдет до того места, как Рыжанко слово дорогое сказал и открылись перед ним двери железные, а хозяин на колени перед Рыжанкой пал и слезами просил, чтобы отпустил его атаман, а атаман задумался, как скажет об этом Косточка, тут сколько раз ребята не слышали, а начнут материть того хозяина, и нашего на придачу. Верить не хотят, что Рыжанко, значит, дурака свалит и того гада не убьет. Потом Косточка взялся по-другому рассказывать. Только всем внять хотелось, что Рыжанко с нашим хозяином сделает.

В рассказе Ерошина большой интерес представляет психология слушателей, которые непосредственно реагируют на ход сказки

и воспринимают события, в ней рассказанные, как реальные события сегодняшнего дня.

Рабочие-сказители так уверены в реальности событий, рассказанных в таком сказе, что и сейчас считают, что рассказывают не сказку, а быль, «былину», как они говорят: «Расскажу тайный сказ про былину».

Сказы эти, конечно, были тайными. Они рассказывали о подвигах беглых рабочих, которые становились атаманами и расправлялись с угнетателями—заводчиками и их управителями. Они будили надежду на возможное избавление, укрепляли веру в счастливое будущее. Сказы возбуждали мечту о таинственных кладах, о золоте, о переустройстве общественных отношений. Сказы о золоте и месторождениях драгоценных камней должны были быть тайными, чтобы не дать хозяевам приисков возможности завладеть ими.

Все эти сказы зарождались в среде рабочих, имели своих сказителей-рабочих.

Тайные сказы глубоко реалистичны, несмотря на элементы фантастики. и, несомненно, они являются особым жанром дореволюционного рабочего фольклора.

О ПУГАЧЕВЕ

В XVIII и первой половине XIX столетия уральские заводы были заводами-наторгами. Положение приписных к заводам крестьян и постоянных рабочих-мастеровых было исключительно тяжелым.

Многочисленные документы говорят о том, что «за тяжелую работу в подземелье в течение шести, семи, восьми и даже двенадцати часов по невозможным к исполнению урокам, кроме хлеба и воды, рабочие получали высшую плату менее трех копеек серебром», что «в рудничные работы посылались дети восьми лет и за шестьдесят, совершенно увечные, слепые и хромые»¹, что «приказчики и нарядчики, незнамо за что, немилостиво били батожем и кнутами и многих смертельно изувечили», что «за принесенную в обиду жалобу, дабы и впредь нигде не били челом», навязывали «яко татю на шею колодки и, вода по улицам, плотинам и по фабрикам, ремennыми кнутьями немилосердно мучили»².

Палки, плети и пытки, оковы и цепи во время работы поддерживали «порядок» на заводах и вызывали в ответ со стороны рабочих и приписных крестьян бунты и волнения.

В 1760 году восстали приписные крестьяне на Авзяно-Петровском заводе, к ним присоединились молотовые мастера, прекратилась работа в некоторых цехах, перестали жечь уголь в курениях.

Восстание было подавлено с необыкновенной жестокостью. В том же году восстали крестьяне шадринских деревень, приписанные к Каслинскому и Кыштымскому заводам. Заводские крестьяне обнаружили удивительную организованность и дисциплину. Восставшие были разорены, триста человек посажено в тюрьму.

Среди заводских мастеров также не прекращались волнения. Заводовладельцы рассматривали заводских мастеров как своих крепостных, а мастеровые требовали, чтобы их сравнили с приписными крестьянами.

¹ Записки оренбургского губернатора. Памятная книжка за 1865 год. Ручкописная выписка, хранившаяся в Свердловском краевом музее.

² Из челобитных приписных Невьянского завода. Архив завода.

Непрерывные волнения 60-х и 70-х годов XVIII столетия среди горнозаводских рабочих подготовили прекрасную почву для успеха, который имело появление Пугачева на Урале, и обусловили активное участие горнозаводских крестьян и рабочих в восстании 1773/74 года.

Уже в октябре 1773 года поднялись заводы Южного Урала: Азяно-Петровский, Белорецкий, Воскресенский, Вознесенский. В ноябре к ним присоединились Катавский, Симский, Юреванский. В декабре восстал почти поголовно Златоустовский завод, а в январе 1774 года рабочие Каслинского и Кыштымского заводов присоединились к Пугачеву, и заводы остановились. И в Прикамском крае, заводы Ижевский и Воткинский с радостью встретили Пугачева.

Восставшие рабочие были выделены в особые полки.

Особенной любовью уральских рабочих пользовался, повидимому, Белобородов—«Белая борода». О нем сохранилось наибольшее количество преданий. Это был выдающийся организатор, который, еще не вступив в непосредственную связь с Пугачевым, сделался одним из руководителей восстания.

Весь горнозаводский Урал был охвачен восстанием, и неудивительно поэтому, что именно здесь, в Златоусте и Челябинске, на Миассе и Магнитной, в Осе и Кунгуре, сохранилось множество преданий, сказов и песен о Пугачеве, Белобородове и его предшественниках—атамане «Золотом» и беглых, которые пополняли собой «Камскую вольницу».

Здесь показывают целые районы, обгаренные кровью пугачевцев, цехи, в которых по приказу Хлопуши и Белобородова изготовлялись орудия, списки казненных, хранящиеся в заводских архивах, дороги, по которым отступали и наступали отряды восставших, озера, горы и курганы, с которыми связаны многочисленные предания о Пугачеве.

Весь фольклор о Пугачеве на заводах Южного Урала проникнут чувством симпатии, восхищения героями восстания. Рассказы переходят из поколения в поколение, песни до сих пор поются старыми рабочими и казаками.

Несомненно, на Урале сохранилось еще очень большое количество преданий, сказов и песен о Пугачеве и его славных сподвижниках, не обнаруженных до сих пор собирателями фольклора.

Желание собрать фольклор о Пугачеве привлекало и Пушкина, когда он настойчиво добивался у царского правительства разрешения выехать на Урал, чтобы собрать материалы о Пугачеве.

Пушкину хотелось побывать в тех местах, где происходили сражения, самому увидеть постоянный двор, где Пугачев обдумывал восстание, схватить той самой степью, по которой проходили войска восставших, перенестись воображением во времена Пугачева.

Яркие образы Пугачева, Хлопуши, Белобородова в «Капитанской дочке» сделаны в значительной степени на основании рассказов современников. Беседы с казаками и крестьянским населением дали возможность Пушкину прийти к заключению, что «уральские казаки, большую часть раскольники (особливо старые люди) доньше привязаны к памяти Пугачева».

Наиболее яркие фигуры сподвижников Пугачева, описанных Пушкиным, это рабочие уральских заводов: и «славный каторжник Хлопуша, и артиллерист Белобородов, который соблюдал в шайках строгую дисциплину». Есть основание предполагать, что внимание

поэта привлекли организованность в доставке орудий и военного снаряжения и та дисциплинированность, которую ввели в заводских отрядах Белобородов и Хлопуша.

На одной из страниц книги «Записки о жизни и службе А. И. Бибикова», находившейся в библиотеке Пушкина, на полях рукою поэта жирной чертой отчеркнуты и подчеркнуты слова из фразы Бибикова о том, что Пугачев захватил много орудий, «умножив сие число орудий вылитыми по приказанию его на занятых им заводах разного калибра пушками».

Из чернового письма Пушкина генералу Бенкендорфу от 22 июля 1833 года видно, что поэт предполагал вначале побывать и в Перми¹, чтобы ознакомиться с участием в восстании заводских рабочих.

Чрезвычайно интересно, что большинство преданий о кладах Пугачева и стоянках его войск, которые сохранились до настоящего времени, почти тождественны с сообщениями Пушкина в «Истории Пугачева». А пословицы и иносказательные поговорки Пугачева, приведенные в «Капитанской дочке», бытуют и до сих пор в различных районах Урала.

Все поговорки, песни, сказки, анекдоты и предания, которыми насыщены «Капитанская дочка» и «История Пугачева», говорят о том, как строго придерживался Пушкин правдивого изображения Пугачева и его товарищей. Пушкин безошибочно определял, какие песни являются подлинно народными, и песню о капитане Сурине, четыре строчки которой приведены в примечаниях к «Истории Пугачева», назвал «солдатской», то есть песней правительственных войск. Он, несомненно, знал все патриотические песни и предания, которые приводятся в сборниках песен и сказаний о Пугачеве и говорят о том, как казаки просят царицу: «Заставь, наша матушка, за себя вечно бога молить» и сожалеют, что «Не дают-то мне, доброму молодцу, волюшки во Ленбурх сходить, Пугача убить»,—он знал их, быть может даже записал, но считал псевдонародными и не включил ни в «Историю», ни в «Капитанскую дочку».

1. Орел-сокол и ворон-ведун

Обнаружено и переписано Е. М. Блиновой из рукописного сборника старого краеведа Чубарова. Сборник представляет собой переплетенную тетрадь (таких тетрадей 5).

В свой сборник Чубаров переписывал из книг всевозможные легенды, песни, сказки, пословицы и приметы. К сказке, или «уральскому сказанию», как ее называет Чубаров, имеется примечание, что она записана в «Станице Нижнеозерской, Чесноковском поселке, в 1900 году от казака Аляксора, 65 лет».

Уральское сказание—это несомненный вариант сказки, которую в «Капитанской дочке» Пугачев рассказывает Гриневу. Трудно решить, является ли приведенная Чубаровым сказка подлинником, который слышал Пушкин и художественно переработал, или же это переработанная народом пушкинская сказка из «Капитанской дочки».

¹ Чрезвычайно странно, что в том же черновике письма Пушкина, датированном тем же числом и опубликованном Модзалевским в издании «Academia» в 1935 году, вместо слова «Perim» стоит «Kasan».

2. Тайный сказ про атамана «Золотого»

Записано Е. М. Блиновой в г. Свердловске в 1936 году со слов Г. Б. Кузнецова, слепого старика 76 лет, бывшего рабочего Невьянского завода.

Сказ этот сложен заводскими рабочими об очень популярном на Урале в XVIII веке атамане Плотникове, по прозвищу «Рыжанко» и «Золотой».

«Золотой» был казнен в 1771 году, но в народном творчестве его имя постоянно связывается с Пугачевым, а в приведенном в нашем сборнике сказе «Золотой» не казнен, как это было на самом деле, а исчезает, чтобы вернуться потом в образе Пугачева. Рабочие-сказители и до сих пор считают «Золотого» предшественником Пугачева, борцом-освободителем.

Сказ этот основан на историческом факте.

В архивах Первоуральского завода имеются показания «Рыжанко» от 23 апреля 1771 года, данные им после встрясок на дыбе и сорока семи ударов кнутом.

Родом «Рыжанко» из Казанской губернии, Пермской провинции, Соликамского уезда, села Нового-Усолья, крепостной крестьянин Андрей Степанов Плотников, 27 лет, а по подложному паспорту И. И. Некрасов. В 1762 году, по окончании учения в местной владельческой школе, на шестнадцатом году от роду, он бежал от своего помещика и до самой смерти переходил с завода на завод, скрывался в бегях, жил по подложным паспортам, вступил в ряды «Камской вольницы».

Он убивал и грабил только заводчиков и их управителей, попов и помещиков.

«Рыжанко» был выбран атаманом при следующих обстоятельствах.

В Елабуге ограбили дом управителя. У заводчика Дасильникова взяли триста двадцать рублей медными деньгами, ограбили дом управителя, взяли сто рублей золотом и много разного имущества. Во время налета самого управителя дома не было. На свободе «добры молодцы хорошо потенились»: напоив вином жену управителя и служанок, они заставили их петь песни и плясать. Уходя из дому, атаман Прибытов взял с собой одну из служанок, увел ее в кабак, намереваясь изнасиловать, но «Рыжанко» не допустил до этого. Когда разбойники собрались у своих лодок, то они атамана Прибытова застрелили и бросили в воду. На его место был выбран «Рыжанко» (Плотников).

Весной 177 года атаман «Рыжанко» явился в Васильево-Шайтанский завод в число рабочих, нанимавшихся для сплава.

Владелец этого завода Ширьев был невероятно жестокий и развратный человек. Посещая заводские работы, он имел обыкновение носить при себе кожаную трость со вставленным в середине железным прутком, набитую песком, и этой палкой без пощады бил своих несчастных рабов за всякий маловажный проступок.

Узнав об этих жестокостях, «Рыжанко» взялся избавить рабочих от ненавистного заводчика.

Вместе с несколькими рабочими он придумал план убийства заводчика и захвата завода.

9 июня 1771 года Ширьев был убит на глазах всего заводского населения. После убийства Ширьева работы на заводе были прекра-

щены, а «Рыжанко» с несколькими рабочими и крестьянами ушел в лес.

Вскоре «Рыжанко» был пойман и после ужасных мучений казнен. Расправа с рабочими завода была так ужасна, что навеки врезалась в память рабочих Сысертского, Невьянского, Ревдинского и Уткинского заводов, которые были пригнаны для присутствия при расправе.

Если сравнить «Тайный сказ» про атамана «Золотого», сообщенный Кузнецовым, с записью священника Топоркова, мы увидим, что исторический факт захвата атаманом «Золотым» Шайтанского завода в основном остался без изменений. Изменены только некоторые детали, которые делают сказ эмоционально сильнее, внесены скавочные моменты, не нарушающие правдиво описанного факта казни заводовладельца Ширяева.

В сообщении Топоркова «Рыжанко» приезжает на завод с тремя товарищами, а в сказе три товарища ждут его в Азов-горе. У Топоркова сказано, что «Рыжанко» приезжал на завод раньше с неизвестной целью, в сказе раскрывается цель этого приезда: «Как услышал атаман про те злодейства неслыханы, невиданы, вскочил на коня своего верного и поехал напрямик, как пуля, через лес, через горы, прямо в Шайтанку, к верному своему дружку Ванюшке, привез ему пули заговорены, что своих не берут, а чужих без промаху бьют».

В сказе «Золотой» наделен волшебной силой. При помощи «дорогого имячка» открывает все три двери: первую—медную кованую, вторую—серебра белого и третью—золота чистого».

Он убивает охраняющего вход к заводчику пса «неслыхана и невидана, с изумруд-камнем в глазах».

И в сказе, как и в сообщении Топоркова, заводовладелец падает на колени, просит помиловать его и обещает уехать из завода навсегда.

У Топоркова и в первоначальном варианте сказа Косточки, о котором рассказал рабочий Ерошин, «Рыжанко» начинает колебаться и хочет пощадить заводчика, а в «Сказе про атамана «Золотого» «Рыжанко» говорит: «Пули на тебя жалко... Ты не так (следует матерное слово) нас мучил...»—и убивает его. После казни заводчика он спускается в тюремные подвалы и выпускает рабочих, прикованных «цепями железными к колодкам каменным», при чем от взгляда его цепи сами собой падают, а на место рабочих сажает прикащиков. Эти детали говорят о ненависти и большой сознательности творцов сказки. Все дальнейшие события, изложенные в сказе, нигде в исторических документах пока не встречались.

В сказе про атамана «Золотого» «Рыжанко» раздает оружие и часть богатств заводчиков рабочим, а «золотые самородки, камни-самоцветы красоты невиданной и тайный плант» уносит в потайную пещеру, где на Азов-горе дозором стоят его три верных товарища, а в пещере, выложенной мрамором, спит «атаманова невеста, красавица-девица».

Окончание сказки «О Золотом атамане и тайной пещере», часть, относящаяся к Азов-горе и хранящимся в нейкладам, очевидно, более позднего происхождения и явно приделана к основному сюжету о «Рыжанко».

Об этом говорит упоминание об «Омельяи Иваныче», который пришел с рабочими на Азов-гору за кладом, спрятанным «Рыжанко».

Продолжив сказ «о кладах Азов-горы», творцы сказки о «Золотом атамане» как бы раскрывают основную мысль кладоискательской сказки о том, кто должен владеть золотом.

3. Старожилы о Пугачеве

Записано со слов рабочих Саткинского завода 13/XII 1936 г.

В районе Саткинского и Златоустовского заводов сохранилось много следов восстания 1774 года.

В декабре 1774 года Саткинский завод перешел на сторону восставших. Воевода Веревкин из Челябинска сообщал генералу Де-Коллону 20/XII, что «к неопisanному всей пверенной мне провинции несчастью и великому бедствию, присоединились к Пугачеву Златоуст, Саткинский завод и Кундровинская слобода. 4000 заводских крестьян влились в отряд атамана Кузнецова, у которого всего было 25 человек войска». «Этими ворами, — пишет Веревкин, — не только в заводе Саткинском денежная казна до 10 тысяч рублей, но и пушек 12, пороху до 5 пудов и, кроме заводчика и фабриканта, домовые имущества ограблены без остатку».

Переход на сторону Пугачева четырех тысяч вооруженных рабочих, снабженных оружием и порохом, был блестящим успехом и открыл мятежной армии дорогу на юго-восточный Урал.

Из материалов Челябинского Областного музея. Запись получена от краеведа села Бродокалмак И. Миронова в 1923 году.

Во время осады войсками Пугачева Челябинска и отступления к Далматову и Шадринску войска несколько раз переходили через село Бродокалмак.

Из рода в род крестьяне села передают рассказы об этих событиях.

До сих пор упорно держится слух, что при отступлении восставшие вакапывали ценные вещи и золото, не желая, чтобы они достались врагу.

Записано в гор. Троицке в 1937 году со слов стариков. Особенно стойко это предание держится в семье Довбни, так как один из предков этой семьи был сослан из Украины в Троицк после восстания декабристов и застал в Троицке стариков—современников восстания Пугачева.

Случай с солдатами, очевидно, действительно имел место, так как о нем рассказывают многие жители Троицка.

О пребывании Пугачева в Троицке, о том, как он раненый лежал в патре, сохранилось много преданий и песня, которую мы приводим в нашем сборнике.

4. Е м е л ю ш к а

Записано И. Сарайкиным в Златоустовском районе со слов сказителя Джангарчи Сарач.

Джангарчи Сарач слышал этот сказ от своей бабушки Линары, крепостной, которая была выменена у князя Долгорукова на породистую собаку.

Сказ этот значительно отличается от всех легенд и преданий о Пугачеве и его сподвижниках.

Пугачев большей частью описывается исторически верно, и народная фантазия не наделяет его волшебной силой. В данном случае в сказ введены «элементы чародейства»: Емельюшка изображен богатырем, которому странник вручает «меч-сеч», при помощи которого он побеждает «нойско царское», но как только меч упал в воду, пропала сила у Емельюшки.

Сказ этот скорее принадлежит к разинскому циклу.

Здесь Пугачев изображен, как Разин, атаманом гетьманьбы; введены разинские струги, на которых плыло его войско.

Возможно, что сказ о Разине был позднее переработан в сказ о Пугачеве.

5. Сказ об атамане «Белая борода»

Записал Н. Куштум в 1935 году со слов своей бабушки Агафьи Ивановны Кирьяновой в селе Куштумга, Златоустовского района.

Этот рассказ лишний раз подтверждает, что Белобородов пользовался среди уральского населения огромным уважением. Еще не вступив в непосредственную связь с Пугачевым, он сделался одним из руководителей восстания, а соединившись с Пугачевым, не расставался с ним до конца. Это был человек огромной энергии, силы, умел руководить, внушать к себе доверие и беспрекословное уважение. Он, как говорится в сказе, «..скорый да правый суд вершил, обидчиков смертью наказывал...»

Гора у озера Тургояк, где стоял Белобородов, до сих пор носит название Пугачевской горы.

6. Про девку Аниску

Записал Н. Куштум в 1936 году со слов А. И. Кирьяновой. Предание бытует до сих пор в селе Куштумге и Таганая.

В сказе отразилось положение башкиров и причины, которые заставили их присоединиться к восстанию Пугачева.

Через всю историю Башкирии красной нитью проходит борьба за землю: «Спокон веков земля была башкирская», а чужие люди «с давних времен земель владели. Но год от году русские начальники их вовсе стеснили».

В связи с колонизацией Урала, помещики и заводчики с благословения царского правительства, грабили немилосердно и обманывали башкиров. Так, в конце XVIII века Белорецкий завод купил у башкиров 300 тысяч десятин леса за 300 рублей, Кыштымский завод заплатил за 150 тысяч десятин 150 рублей. Каслинский завод построен на башкирской земле, купленной буквально за гроши. Сенаторская ревизия Уфимского и Оренбургского краев в 1881 году обнаружила полное расхищение башкирских земель.

Башкирские восстания подавлялись с необычайной жестокостью, но все же, как только распространился слух об указе Пугачева, когда, как говорится в сказе, «башкиры прослышались», что «есть приказ» от самого Пугача «землю у русских назад отобрать и башки-

рам отдать», «повалили тогда башкиры толпами воевать на помещиков и русских богатых мужиков».

Чрезвычайно характерно, что сказ сложен не башкирами, а русскими: в нем сказывается огромное сочувствие к башкиру Мухамету Кулуеву, и крестьянин Силантий Горюнов «не сробел» и заговорил со стоящей на костре Анис-Казым.

Этот сказ, как и песни «Нас пугали Пугачом», которая приведена в нашем сборнике, доказывают, что царскому правительству не удалось посеять вражду между народами Урала.

О КАРТОФЕЛЬНОМ БУНТЕ

Авторы записей неправильно называют крестьянские волнения 1842—43 года «картофельным бунтом». Народ называл все эти события «заворохою», «бунтовкою», «бунтовым годом».

О причине волнений говорит следующая выдержка из материалов III отделения его императорского высочества канцелярии и корпуса жандармов за 1843 год:

«Возмущение казенных крестьян произошло в 1843 году в восьми губерниях: Вологодской, Олонецкой, Оренбургской, Пермской, Tobольской, Казанской, Екатеринославской и Симбирской. В трех из сих губерний казенные крестьяне, под предводительством бессрочно отпущенных и уволенных в отставку военных чинов, с оружием в руках встретили посланные для умирения их воинские команды и только усиленными отрядами приведены в повиновение. Поводом к таким беспокойствам со стороны казенных крестьян были притеснения и поборы волостного начальства, желание перейти из ведомства Палаты государственных имуществ под зависимость Земской полиции, распоряжения о посеве картофеля, учреждение общественной запашки и вообще невежественный взгляд крестьян на вводимые по сельскому их хозяйству улучшения».

В этом документе тяжесть всей крепостной системы—главная причина крестьянских волнений—заменяется «вообще невежественным взглядом крестьян».

В действительности дело обстояло так.

Зауральские крестьяне в большинстве своем были государственными крестьянами и жили лучше приписных—заводских и монастырских крестьян. Среди восставших еще свежи были в памяти рассказы и предания о героической борьбе 1762—1763 годов их предков против Долматовского монастыря, о так называемой «Дубинщине», и живы были еще старики—современники и участники восстания Пугачева. Получив распоряжение Николая I об обязательной посадке картофеля, государственные крестьяне приняли его как начало их закрепощения и подняли восстание.

Первой поднялась Воскресенская волость, гуще населенная государственными крестьянами. Она явилась центром, куда стекались соседние восставшие деревни.

Восстание разрослось. Войска, находившиеся в Челябинске, не могли справиться с тысячами восставших. Из Оренбурга и Уфы были затребованы сильные воинские части. Прибывающие отряды концентрировались в Челябинске.

Карательный отряд полковника Родена, умирившего с необычайной жестокостью восстание в Челябинском уезде, где были осо-

бенно сильные волнения, состоял из 18 офицеров, 49 урядников, 11 201 солдат¹, двух рот пехоты, четырех орудий с большим количеством боевых снарядов. Таковы были почти все отряды.

Общее командование всеми карательными силами было в руках генерал-лейтенанта Обручева.

Восстали крестьяне и в Ирбитском, Шадринском, Камышловском уездах нынешней Челябинской области.

В течение целого года карательные отряды расправлялись с восставшими. Челябинский уезд—очаг восстания—был буквально залит кровью народа. Челябинский острог не мог вместить всех арестованных. Палачи не покладая рук пытали, истязали, замучивали сотни людей. Оставшихся в живых военный суд приговаривал к каторжным работам в Миасские и Богословские рудники.

Неудивительно, что до сих пор на Южном Урале сохранилось множество преданий и рассказов о «картофельном бунте».

7. Бунт в слободе Воскресенской

Записал в 1936 году П. В. Мещеряков, уроженец села Воскресенского, ныне села Кирова, Челябинской области. Он неоднократно слышал это предание от стариков-односельчан.

Записанный рассказ верно отражает «завороху» в Воскресенской слободе и зверскую расправу с крестьянами. Действительно, в слободе Воскресенской крестьянин Андрей Иванович Варушкин и Иван Федорович Фадюшин, по прозвищу Люсый, составили бумагу к народу. Эта прокламация имела огромный успех. Текст ее был следующий:

«Вы, государственные крестьяне, поступаете во владение такому-то помещику, вы должны сеять ему хлеб, жать, молотить и доставлять в магазин барина; платить ему еще оброк по 100 рублей с души, отдавать ему половину скота и птицы; а жены ваши должны прясть из своей кудели, ткать холсты, для чего им выдадут от барина деревянные станки (кросна) и берда широкие медные. За неисполнение всего этого будут наказывать не как ныне—розгами, а плетью и ссы-
лать в Сибирь; а распоряжаться будут чиновники, под названием окружных начальников, и волостные правления, которые учреждены уже от барина; а члены правления с вас же будут брать жалование, которое назначил им барин».

Люсый, вручив «копии и перекопии» своим агентам для распространения их в прочих волостях (под клятвенным секретом), внушил им при этом, что необходимо объяснить крестьянам, что такие же копии находятся во всех волостных правлениях: а Варушкин, разъезжая, рассказывал, что подлинный указ написан на тонкой бумаге с золотыми строчками и золотым клеймом.

Первый взрыв бунта выразился в том, что народ ринулся в волостные правления и потребовал от писарей указ с золотыми буквами и золотой печатью, в котором объявлялось Челябинскому уезду о передаче его во владение какому-то помещику Кульневу.

¹ За точность цифр ручаться нельзя. В разных архивных материалах цифры различные, но отклонения от приведенных крайне незначительны.

Попытка исправника усмирить крестьян не удалась, и сам он едва уцепился в город. Становые пристава сидели запершись в своих квартирах, осажденные крестьянами.

8. П р о в о д о л а з о в

Записал по памяти П. Бажов в 1935 г., который слышал этот рассказ в 1918 году, во время гражданской войны, от старика-добровольца из деревни Байновой, близ Каменского завода, в б. Камышловском уезде. Рассказ является любопытной характеристикой сущности крестьянского восстания 1842 года. Как в предыдущем так и в этом рассказе характерно отношение крестьян к попам.

9. И з р а с с к а з о в с т а р и к о в

Переписано с рукописи хранящейся в Областном челябинском музее. Здесь уже нет упоминаний о картошке, а приводится слух о грамоте, якобы передававшей государственных крестьян во владение помещикам.

Переписаны В. П. Бирюковым с рукописи, хранящейся в Шадринском музее.

10. Э ш а ф о т

Записано со слов стариков в г. Троицке. Тожественное описание наказания на эшафоте описывает В. А. Протасова в своих записках «Город Челябинск в 60-х годах прошлого века» (Обл. челяб. музей).

Здесь, помимо описания процедуры телесного наказания, рассказывается и о том, за какие преступления царское правительство так жестоко карало. Оказывается, что за сокрытие старателем золота виновный подвергался публичному телесному наказанию.

11. П и м е н о в а п л о т н а

Записано в 1937 г. в Каслях, Уфалейского района, Челябинской области, со слов старого рабочего Каслинского завода М. В. Торокина, который слышал этот рассказ от своего отца.

В XVIII столетии на берегах Каслинских озер был построен тульским купцом Коробовым завод. В 1755 году завод купил известный уральский заводчик Демидов, прославившийся жестокостью и невероятной эксплуатацией своих крепостных рабочих. Озера были запружены плотинами, которые строились в буквальном смысле на костях рабочих.

В сказе обращает на себя внимание трогательная концовка, делающая весь сказ несомненно художественным произведением.

12. Ч е л о б и т н а я

Записано в Каслях в 1937 году со слов рабочего Каслинского завода М. О. Глухова.

Рассказ является, очевидно, отголоском восстания рабочих на Каслинском и Кыштымском заводах в 1822 году.

Положение рабочих на заводах их владельца, купца Расторгуева, было настолько тяжелым, что даже один официальный документ сравнил его рабочих «по скудным платам заработка—с каторжными, а по изнурениям—с неграми африканских берегов». На заводах начались волнения рабочих, вылившиеся в конце концов в настоящее восстание, которое подавила значительная военная сила (2 500 солдат при нескольких офицерах).

Восстанием руководил рабочий Кыштымского завода Косолапов, человек огромной энергии и воли. Он был арестован, но ему удалось бежать из тюрьмы и скрыться в лесу вместе с товарищем. По доносу Косолапов был захвачен в болоте, смертельно ранен и вскоре умер.

Скрывшийся в лесу, тоже беглый, каслинский рабочий Седельников, по рассказу Коротков, вскоре ухитрился пробраться в Кыштым и подать путешествовавшему в то время по Уралу царю Александру I (а не II) челобитную, в которой рабочие сообщали о неимоверной эксплуатации, зверских расправах с восставшими и об убийстве Косолапова. Уже при Николае I в Касли и Кыштым была послана комиссия во главе с графом Строгановым, аристократом декабристских настроений, другом Байрона. Из доклада Строганова графу Канкрину видно, что «усилена добыча золота и усовершенствована выплавка железа не заведением новых машин, а несоразмерным усилением работ, жестокостями и тиранством» и что на промыслах заведено кладбище «для скоростижно умерших», то есть замученных управителем Зотовым и его приспешниками.

Об этой комиссии упоминается в рассказе.

13. «На волю выйдем, да в неволе жить будем»

Записано в Каслях в 1937 году со слов Прасковьи Петровны Вольхиной, она же Черепанова, 100 лет.

Сказительница Черепанова, по прозвищу «Паша Чеботарка»,— вдова рабочего-старателя Полевского завода.

Несмотря на свои годы, Черепанова еще сапожничает—чеботарит. Черепанова прекрасно помнит старину и хорошо рассказывает сказки.

14. Обушники

Записал 3 марта 1936 года Алексеев в Верх-Нейвинске со слов заводского кузнеца Сарафанова Н. И., 62 лет.

Эту «былину», как ее называет Сарафанов, он слышал от своего деда. Хотя со времени описываемых событий прошло целое столетие, сказ об обушниках бытует среди рабочих Верх-Нейвинска. Расправа над кровопийцей Зотовым, и геройский поступок Пузанова сделали сказ устойчивым.

15. Мордобой Шмаков

Записал В. П. Бирюков со слов рабочего З. А. Чернышова в Нижнем Тагиле 28 июля 1936 года.

Шмаков был смотрителем на медном руднике в 70-х годах XIX столетия. О зверстве этого смотрителя в Нижнем Тагиле говорят

поговорки, бытовавшие до революции: «Дам, как Шмаков, деру», «Шмаков не побьет, так шпур добьет» (шпур—скважина, заряженная взрывчатым материалом). Чернышова Таисия Зиновьевна рассказывает: «Реденький рабочий отделается так, что смотритель его не побьет. Хоть раз, да ударит, а кого и за полосы оттащает. Рабочие трепетали в те часы, когда к ним спускался Шмаков».

Бывали даже случаи, что «рабочий видит, что Шмакову надо его бить, а трудно достать, так он сам ложится, и Шмаков начинает его рвать».

16. Кузнец и чорт

Записано т. Алексеевым от рабочих Берестнева Гавриила Ивановича, 61 года (Березовск, 1936 год), который слышал этот сказ на Невьянском заводе в 1906 году, и Кожурина Петра, 52 лет (Березовск, запись 1936 года), который слышал его на Невьянском заводе. Он говорит, что «побаска эта тайная».

Сказ, или «побаска», «О кузнеце и чорте» ярко изображает необычайно тяжелые условия «огненной» работы.

Рабочие, передававшие эту побаску, рассказывают, будто бы при допросе арестованных рабочих им часто ставилось в вину, что они рассказывали в казармах «о плохом положении рабочих». «Кузнец и чорт» имеется в трех вариантах—с трех разных заводов: Невьянского, Березовских рудников, Нижне-Сергинского.

Во всех трех вариантах рассказчик начинает свою «побаску», или «тайный сказ», с предисловия, которое служит объяснением, вернее, оправданием героя сказки, пропивавшего заработанные деньги в кабаке.

В сказе «Кузнец и чорт» рабочий ясно сознает, что кабак—это зло, которое помогает заводчику держать в кабале рабочих. У рабочих спянка развизывались языки, они «почем зря» крыли своих хозяев и помогали таким образом пылавливать неблагонадежные элементы.

Вот такой рабочий и описывается в сказке «Кузнец и чорт».

«Побаска» эта, повидимому, бытовала издавна на заводах. В ней описывается кричный способ производства, и надо сказать, что обстановку и процесс производства сказитель дает довольно верно и образно: «В ней ночь черна от пыли да сажи», «сто горнов горят, четыреста молотов стучат». У рабочих при «огненной» работе действительно лица были красные, совершенно обожженные, и самым тяжелым моментом был именно момент сажания крицы.

Мамин-Сибиряк, описывая работу в кричне, говорит¹:

«Работа в кричне показалась Арефе прямо адом. Огонь, искры, грохот, лязг железа, оглушительный стук двадцати тяжелых молотов. Он свободно управлялся с двухпудовой крицей, только очень уж жарило от раскаленной печи. Двое мастеровых указали ему, как «сажать» крицу в печь, как ее накаливать добела, как вынимать из огня и подавать мастеру к молоту. Последнее было хуже

¹ Мамин-Сибиряк, «Охоины брови», стр. 59, изд. Техлесиздата, Свердловск.

всего: раскаленная крица жгла руки, лицо, сыпали искры, и вообще доставалось трудно. Недаром кричные мастера ходили с такими красными, запеченными лицами. Все были такие худые, точно они высохли на своей огненной работе».

В сказке несколько раз подчеркивается невыносимое положение заводских рабочих и тяжелые условия работы. Вставной эпизод встречи с хозяином, начало о кабаках и концовка о том, как вредно «распускать язык», придает сказке с сатирическим оттенком определенную остроту.

Понятным становится, что «побаска» имеет несколько вариантов. Она была тем бродилом, которое поднимало настроение рабочих, оказывало определенное эмоциональное воздействие в нежелательном для хозяев направлении.

В рассказе о кузнеце тоже есть вымысел, фигурирует сверхъестественная сила—чорт, но слушатели прекрасно понимали, что чорт выдуман, что кузнец в ад не ходил, что ад символизирует их жизнь, и принимали это как интересную форму рассказа.

17. О молотобойце и чорте

Сказку эту записала Е. Блинова со слов старика 73 лет, кузнеца Степана Власыча Дерягина, приехавшего в Свердловск с тем, чтобы «напечатали правду жизни рабочих».

Рассказывал он очень запутанно, отклонялся в сторону, так что запись оказалась негодной. Затем эту же сказку рассказала старушка А. Тихомирова, 65 лет, слышавшая ее в детстве на Уткинском заводе от старых рабочих, а 14 июня 1936 года получен издательством по почте приведенный вариант сказки с надписью:

«Прочитал в «Уральском рабочем» статью Блиновой о сказке «Кузнец и чорт» и присылаю другую сказку, тоже про чорта, которую слышал от своего деда. Я. И. Журавлев, бывший рабочий Верх-Исетского завода, а теперь пенсионер».

Сказка эта, очевидно, была довольно распространена на уральских металлургических заводах, но даже похожих вариантов в печати не приходилось встречать, тогда как варианты сказа о кузнеце и чорте печатались.

ТАЙНЫЕ СКАЗЫ О ЗОЛОТЕ

«Дорогое имячко», «Про великого Полоза», «Медной горы хояника», «Сказка о купце Семигоре», «Медвежий огрызок», «Блюмовский разрез», «Бунт»—это тайные сказы о золоте.

Сказок и рассказов о золоте на Урале множество. В так называемых «тайных сказках» рассказывалось о кладах, скрытых в земле и в горах, которые охранялись либо таинственным змеем «великим Полозом», либо легендарной «девкой-Азовкой». Они были приставлены охранять золото и драгоценные камни от влих людей, которые при помощи золота угнетали более слабых и беспомощных. К подземным сокровищам мог проникнуть только тот, кто знал магическое слово, «дорогое имячко».

Сказы о золоте заводских рабочих значительно отличаются от сказов старателей.

В тайных сказах старателей о золоте, несмотря на то, что они в основном реалистичны, чувствуется вера в неведомую высшую силу, тогда как в тайных сказах заводских рабочих фантастика—все эти псы, двери, сами собой открывающиеся,—это только украшающая рамка, а главное—это сила самих рабочих, их ненависть к угнетателям-заводчикам.

Различие объясняется тем, что группа рабочих-старателей, оторвавшись от крестьянства, сохранила элементы крестьянского мировоззрения в большей степени, чем заводские рабочие того времени.

Собранные за последнее время сказки о золоте и рассказы стариков говорят о том, что на Урале складывались и бытовали различные виды сказок: и обычные, давно известные кладоискательские сказки, и «тайные сказки»—поэтические сказки об отношении рабочего к богатствам, скрытым в земле (сказка «Дорогое имячко»), и сказки о происхождении драгоценных камней (сказка о Семигоре), и трогательный сказ о положении женщин на приисках («Медвежий огрызок»), и исторические рассказы, слегка тронутые фантастикой, о борьбе рабочих-старателей с извергами-заводчиками (легендарный «Блюмовский разрез» и «Бунт» и отчасти «Сказ про атамана «Золотого»).

Все эти сказки, несмотря на присутствие фантастики, глубоко реалистичны, идейно насыщены и дают яркие образы старателей, горщиков, они знакомят с секретами производства и обнаруживают прекрасное знание местности, исторических событий, природных богатств. Был случай, когда на основании сказа старого рабочего в Миассе были найдены золотоносные месторождения. Специалисты, читавшие эти сказки, говорят, что они дают чрезвычайно правдивое описание рудных месторождений, залежей золота и драгоценных камней.

Интересно, что в сказке об атамане «Золотом», приведенной нами выше (2), упоминается камень, который бывает то красным, то зеленым. Очевидно, это александрит.

Сказка об атамане «Золотом» относится к 1771 году, а между тем, по словам минералогов, александрит найден на Урале только в 1833 году. Таким образом, официально александрит стал известен на Урале в 1833 году, но горщики, имена которых остались неизвестными, знали его и раньше, но держали в тайне от государства наиболее ценные находки.

18. Дорогое имячко

Записал по памяти П. П. Бажов в 1936 году в г. Свердловске. Он слышал неоднократно эту сказку в 1894—1895 годах в Полевском заводе Сысертского горного округа от Василия Алексеевича Хмелинина.

Хмелинин—незаурядный художник-сказитель.

Он не выдумывал своих сказов, а пользовался для них материалом, который принял «на веру» от предыдущего поколения. Хмелинин только освещал этот материал своим житейским опытом, отчего его сказки казались особенно живыми, интересными и запоминающимися. С этой стороны сказки представляют своего рода исторический документ, комментируя который, можно восстановить прав-

дивую историю заводского округа в том освещении, как это представлялось рабочему.

Описывая Азов-гору, Хмелинин говорит: «Азов-гора стояла сроду в лесу, а на Думной-то на камнях ветерком обдувает».

Действительно, Азов-гора покрыта лесом, а на вершине горы лежит камень, с которого хорошо видна окрестность. В горе находится пещера.

В районе Азов-горы с 1823 года шли разработки золотоносных песков и нередко находили самородки.

В сказе Соликамский убедил «старых людей», что «круп и песок зарыть надо. Снизу черной земли выворотить, чтоб травой заросло». Вот в таких-то «верховиках» и производилась в этих местах разработка золотоносных песков.

Описывая пещеру, Хмелинин рассказывает, что в пещере «пол, например, гладкий-прегладкий, из самого чистого мрамору».

Действительно, в районе Полевского завода были залежи прекрасного белого мрамора.

Реальные изображения природных условий и проверенные исторические факты переплелись в сказе с настоящим сказочным вымыслом: исполинская сила «старых людей»; обычное сказочное описание сна героя, который спит до того времени, пока будет снято заклятье; сама собой закрывающаяся гора.

19. Про великого Полоза

Сказка артиста-сказителя Хмелинина, записанная по памяти П. Бажовым в г. Свердловске в 1936 году.

Несмотря на элементы чудесного, сказка глубоко реалистична и правдиво рисует тяжелое положение рабочего-старателя.

Сказок и рассказов о Полозе, хранителе рудных богатств, на Урале много. Есть основания считать, что действительно на Урале существует огромных размеров змея—полоз, которая встречается в горах.

Над этим вопросом много потрудились и краеведы и любители природы.

Поводом к поискам полоза служили бесчисленные слухи, рассказы, различные сведения о местонахождении полоза и о встречах с ним. Были даже сообщения о нападении полоза на людей, о битвах со страшным змеем.

Имеются кое-какие отклики поисков полоза, о нахождении его на Урале уже в 1937 году, в Челябинской области.

В сказках слухи о встрече с полозом, рассказы о бегстве золотоискателей от страшного змея опозитизированы неведомым «автором». Из слухов и рассказов соткан фантастический образ страшного хранителя «главного золота».

20. Медной горы хозяйка

Записана по памяти П. Бажовым в Свердловске в 1936 году, слышавшим много раз эту сказку от сказителя Хмелинина в 90-х годах.

Медной горы хозяйка—один из тайных сказов Полевского сказителя Хмелинина. Как и в других сказах Хмелинина, в художественную ткань вплетено много фантастического материала.

Медная гора—один из старейших на Урале медных рудников—Гумешевский и вся прилегающая к нему местность.

Основная выработка Гумешевского рудника состояла из высокопроцентной углекислой меди—малахита самой разнообразной окраски и строения. Встречалась здесь и самородная медь в виде так называемых цветков (в сказке «витки») и кристаллов (в сказке «королек»). Находили ли здесь когда-нибудь медный изумруд—диоптаз, который в сказке фигурирует в виде «слез хозяйки», точных сведений нет. Что же касается глыбы «во сто пуд» и «пяти-саженных столбов», то здесь, очевидно, имеются в виду полутоннационная глыба малахита, которая находится в Свердловском музее краеведения, и девятиметровые колонны Исаакиевского собора, сделанные из малахита Гумешевского рудника.

21. Марков камень и 22. Приказчиковы подшвы

Побывальщины сказителя В. А. Хмелинина. Записаны по памяти П. Бажовым в г. Свердловске в 1936 году.

23. Сказка о купце Семигоре, дочке его Настеньке и Иване Беглом

Записана Е. М. Блиновой в ноябре 1937 года в гостинице г. Челябинска от старика Евдокимова 80 лет. Евдокимов не уралец (из Орши, Белоруссия), но слышал и хорошо запомнил сказку от своей тещи, жительницы Миасса в 80-х годах прошлого столетия. Она рассказывала сказку со слов горщика Лобачева Андрея в Миассе. Евдокимов рассказывает неохотно, не позволяет записывать. Говорит, что всю сказку полностью он не знает. А это запомнил.

К сожалению, он, очевидно, «облагораживает» язык сказки и многое пропускает.

Вариантов сказки о Семигоре несколько. В. П. Бирюков представил один вариант, но чрезвычайно бледный, совершенно искаженный. К началу уральской сказки приставлена другая сказка, ничего общего с ней не имеющая.

Но интересно, что сказ вообще бытовал на Урале. Можно с уверенностью сказать, что сказ о происхождении аквамарин—миасского происхождения. Характерно, что теща Евдокимова слышала его от Лобачева. Около озера Аргаяш в Ильменском заповеднике находятся Лобачевские копи, по имени знаменитого знатока—горщика Лобачева. В них можно видеть и сейчас цвета озерной воды, голубоватые прозрачные аквамарины и удивительной голубизны амазониты.

В роду у Лобачевых все были горщиками. Последний в роде, Андрей Лобачев знал каждый метр земли в Ильменских горах, он так же хорошо знал камень, как и его прадед Андрей, который впервые нашел аквамарины.

В сказе «О купце Семигоре» встречаются такие детали, которые

мог знать только горщик и которые проходят мимо обыкновенного читателя.

«Выбрал Иван Беглый местечко по другую сторону горы—лег на траву. В лесу тихо. Стал он спать собираться, только слышит, треск в горе. Грозы нет, а гора трещит».

Этот-то треск и понятен только профессионалу.

Встарицу горщики работали артелью человека в три-четыре чрезвычайно примитивными способами.

Об этой работе хорошо рассказали старики-горщики Семенов и Краснояров в сказке «О горе Поцелуихе».

«Пришла к горе артель горщиков. Стали рыть землю. Видят, идет жила. Старики рады. Деревянной колотушкой вгоняют они в землю деревянные клинья. Откалывают горную породу. Деревянными совочками выгребают. Работают день. Два. Неделю. Медленно подвигается дело. Но жила лежит путеводной нитью. Старики не теряют ее. А работать становится трудней: порода чем дальше, тем крепче. Вот, наконец, появляются уже «щетки» (так называют горщики и теперь небольшие друзья самоцветов). Значит, сейчас дойдут до гнезда. А порода крепчает с каждым вершком. Опытный глаз стариков видит, что залежи самоцвета буквально в одном вершке. Старики отбросили клинья. Хвосту натаскали. Костер разожгли, греют камень. Накаляют его. Потом холодной водой заливают, чтобы лопался. Трещит, а ничего не выходит. Крепка порода. Даже огню не поддается. Сколько старики ни мучились, так и не смогли добраться. Вот уж подлинно: видит око, да зуб неймет!.. Так и ушли. Увидели, поцеловали, да и ушли, с чем пришли. Оттого-то гора и называется «Поцелуиха».

Вот этот-то характерный треск в горе, который выдавал работу горщиков, добравшихся до «гнезда» самоцветов, и услышал Иван Беглый.

Обращает на себя в этой сказке внимание и то, что, несмотря на обычный сказочный ритуал (зверь, который просит пощады и говорит человеческим голосом, обещая услужить за это герою), вся сказка глубоко реалистична; выбор именно бурундучка, уносящего драгоценные камни от злого Семигора, не случаен, как не случайна и ящерица в «Медной горы хозяйке». Бурундук—небольшой зверек из породы грызунов—очень часто встречается в горах: он протачивает ходы и часто забирается глубоко внутрь горы.

В сказке «о Семигоре», так же как и в сказке «Медной горы хозяйки», тайная сила в образе бурундучка покровительствует рабочим и наказывает их угнетателей.

24. Медвежий огрызок

Записал Б. А. Парамонов, сын старателя Миасских приисков, в 1915 году со слов своей бабушки, которая не раз рассказывала ему эту побывальщину.

25. Бунт

Записал Б. А. Парамонов в г. Миассе в 1936 году со слов отца-старателя, который, в свою очередь, слышал рассказ от своего отца.

Записал Б. А. Парамонов в 1936 году со слов старателя Ленинского прииска «Миассзолото» Якова Михайловича Кудрявцева.

Три последних рассказа можно также отнести к тайным сказам. Темой рассказов служит борьба между рабочими и их хозяевами. В основу положен исторический случай.

В «Медвежьем огрызке» кучер Михайла мстит за загубленную жизнь любимой девушки, в то время как остальные крепостные рабочие вынуждены молча терпеть невероятные издевательства приискового начальства.

История Катюши—обыкновенная история женщины на золотых приисках. Недалеко от Каслей, на рудниках Расторгуева в первой четверти XIX столетия (годы, когда, по всем данным, возник сказ о «Медвежьем огрызке») произошел так называемый «бабий бунт». Об этом бунте сохранилось множество преданий.

Сказ, несомненно, является отголоском этих событий, но в нем оставлена только линия Катюши и ничего не говорится о бунте. Что еще больше подтверждает связь сказа с событиями на Расторгуевских рудниках, это упоминание в нескольких преданиях о «бабьем бунте», о причудах смотрителя, который держал у себя ручного медведя.

Очень характерна для сказок о золоте концовка в «Медвежьем огрызке». По существовавшему среди старателей поверью золото открывалось только людям с чистой душой. А несчастная, загубленная приисковым начальством Катюша была именно той чистой душой, которой «золото само в руки шло».

В «Бунте» и «Блюмовском разрезе» одновременно с ужасами Миасских золотых рудников изображается коллективный протест рабочих. Совершенно очевидно, что в основу этих рассказов положен бунт, вспыхнувший почти одновременно на заводах и приисках, во главе которого стоял Косолапов.

На это указывает и упоминание в сказе «Бунт» о приезде Александра I. Значит, это было в 1824 году.

Эти повсеместные бунты на заводах и приисках Урала совпали с подготовкой восстания декабристов, и, несомненно, рабочие сказы и предания должны будут осветить эту, еще не раскрытую страницу истории.

Рассказы о «Блюмовском разрезе» очень устойчивы на Миасских золотых промыслах. До сих пор существует в Ильменском заповеднике необычайно богатая драгоценными камнями «Блюмовская копь». Это название не дает забыть нашей молодежи о каторжных условиях работы в дореволюционное время.

27. П р и т ч а

Записано в г. Свердловске в 1937 году со слов свердловского грабильщика Г. И. Бабанова, 64 лет.

Сказка, несомненно, литературного происхождения. В период первой революции сказка бытовала во многих подпольных революционных организациях в Киеве, Одессе и Житомире.

Настоящий вариант сильно изменен. Собственно, остался только сюжет притчи.

По словам Бабанова, он услышал сказку и запомнил ее почти дословно.

28. Чапай

Перепечатано из газеты «Ленинские искры» от 3/X 1936 года в г. Челябинске. Записал сказ Сарайкин в Сатке.

Чапаев—любимый народный герой, и поэтому неудивительно, что о нем складываются легенды и народная фантазия наделяет своего любимого героя бессмертием.

В Саратове, в Самаре и на Урале записаны почти тождественные сказы. Чапай не умер, а переплыл Урал. «Немного отдохнул, а потом пошел на бухарскую сторону бойцов себе искать, чтобы потом с беляками драться. Ушел и больше не пришел. Никто его не видел. Только идут разговоры, будто жив Чапай».

Евдокимова, вдова и мать замученных белогвардейцами рабочих-партизан, которая рассказала, как «песня ее живой сделала», (сказка приводится в настоящем сборнике) слушая разговор о боях в Испании, неожиданно сказала: «Вот все думаю я, что, может, Василь Ивановича там дело». На недоуменный вопрос, о каком Василь Ивановиче идет речь, Евдокимова убежденно заявила: «Да об Чапае, живой-то наш соколик».

«Чапай»—это не обычный сказ-воспоминание, а поэтическое предание.

Приведенный сказ, несомненно, получил уже фольклорную устойчивость. В совершенно различных местах Челябинской области записаны почти тождественные варианты.



С К А З Ы Р А Б О Ч И Х

РАССКАЗЫ СТАРАТЕЛЕЙ

1. МИАССКИЕ БОГАТЕИ

У Баймака, около Верхнеуральска, арендовал у Российского общества Петров земли—и начал бить дудки.

Золота нет и нет. «Раззор!»

Понаехали французы на прииска—скупают участки.

Петров задумал и свои дудки-шахты продать.

Зарядил золотом—пятнадцать золотников—пять патронов и выстрелил из ружья в стенки шахты.

Французы, конечно, наперво пробу брали, а Петров покажи им те места, куда растерял золото. Ну, на первой же пробе французы взяли пять золотников с ковша, на второй—с воза шесть золотников.

Обзарились на богатимую пробу и скупили за много тыщ шахты у Петрова. Разбогател Петров, а у французов нет и нет золота, а Петров помалкивает себе, бросил золото мыть, а открыл лавки в Миассе и зажил на настреллянное золото.

Был у нас золотничным на прииске Александровском Дунаев Петр Константинович, жизни от него не было старателю.

— С ума бы тебе сойти!—в глаза ему так и говорили.

Не давал он пощады старателю, а обвешивал он нас—спасу не было.

Нахапал золота—страсть. Не пропускал ни одной бабы и девки. Был холостой—лет тридцать семь ему было.

— Приведи Настю ко мне на ночку, делянку с золотом получишь!—предлагал он старателю, если у того пригожая дочь была.

— Баба твоя пускай придет ко мне, и сговоримся,—говаривал он старателю какому—и прогонит его с богатой делянки.

Которые бабы или девки шли по нужде, потому, «голод не тетка», а больше все ругали золотничного. «Рехнуться бы тебе умом, кобель окаянный!»—отплевывались бабы и девки.

Привозит однажды Дунаев тридцать рублей золота своему дружку, богатею миасскому—Важдаеву, скупщику золота.

Важдаев золото взял, унес к себе в спальню, а Дунаева—угощать:

— Закусим, Петя, а потом уж и дело! Это от нас не уйдет! Выпили изрядно, закусили.

Дело к вечеру.

Захмелевший Дунаев и говорит:

— Пора ехать! Прикинь на весах для верности золото, да рассчитаешься!

— Какое золото?

— Как какое?..

— Ты проснись, Петя! Аль очумел?

С Дунаева хмель, как рукой, сняло.

— Ты, друг, шутки брось!—и кинулся в спальню, а там золота и не оказалось.

А Важдаеву смех:

— Вот удружил! Ай, Петя! Никак, и впрямь рехнулся!

Дунаев—драться.

Важдаев крикнул дворника и вытолкал друга за порог.

Дунаев вскоре сошел с ума.

2. ЗОЛОТОКРАДЫ

На Марининской шахте золото было при «Компании» шибко богатое. В сутки выбирали из шахты пять-семь фунтов.

Управителем тогда был Кнорт Владимир Валентинович—

на прииске от «Компании» графов Асташева и Левашева и купца Дараганос, которые жили в Питере, а управителем всех приисков в Миассе был Баскин Петр Павлович,—это было в 1881 году.

Робили тогда в шахте по двенадцать и больше часов, а как вылезешь из шахты, дадут стакан вина, снимешь мокрую одежду и стоишь голый, хошь летом, хошь зимой, все едино. Обыщут, не вынес ли золото с собой. Ну, мы, знамо дело, были тоже не дураки, на каторгу итти не шибко любо.

А платили нам поденно. На харчи нехватало, и потому золото все же крали у «Компании».

Мы, рабочие, так тогда говорили:

— Сам управитель золото ворует, и смотритель Дунаев, и стражник Петров, а нам что дали? Нет...

Был тогда у нас кочегаром у двигателя на шахте Пермяков Степан Андреевич, в шахту он спускался по делам своим как кочегар, и мы с ним договорились:

— Выноси, на,—золото пополам,—и выносил.

На него прилику не было у начальства.

Так-то вот в субботу поехал старатель-забойщик Воробьев в Миасс—домой.

Дело было зимой, холод, ночь. Вдруг на Воробьевской горе, за прииском, преградили ему дорогу—путь казаков человек семь с старшим стражником Петровым Михаилом Ивановичем. А Петров был шибко сноровный, и из-за него немало людей шло на каторгу.

— Стой!—скомандовал Петров.—Золото везешь?

— Ищите!—смеется Воробьев.

Был он отцетая головушка и умел провозить с прииска золотце-то.

— Снпмай тулуп!

Обыскали, ощупали, рылись в саях, в сбруе лошади, в гриве, везде,—нет золота.

— Где золото?—пристывает Петров, а ему фискалы,—были таки доносчики из нашего брата, старателей,—донесли уж раньше, что золото Воробьев повезет.

— Ищите!—смеется Воробьев.

— Скидывай одежду!

Воробьев скинул пиджак, брюки, остался в белье исподнем. Обыскали,—нет золота.

— Скидывай все, дочиста!—приказал Петров, лютея все больше, и огрел Воробьева нагайкой.

— Кар-раул!—было закричал Воробьев.

Стражники заткнули ему рот, содрали исподнее белье,—нет золота!

Холод. Воробьев дрожит, а не сдается.

— Везешь золото?

— Разреши, Михаил Иванович, одеться!—взмолился Воробьев перед Петровым.

— Пет, ты скажи!

— Везу! Найдете—ваше будет!—твердит Воробьев.

— Присаживайся на корточки!—скомандовал Петров.—Оправляйся, так твою мать!

Охота—не охота,—а Воробьев уже замерзал,—все же оправился, сколь мог.

Петров при свете фонаря порылся, порылся в... Воробьева,—нет золота!

— Одевайся, сукин сын!

Воробьев оделся, сел в сани, понукнул Савраску и был таков.

А золото у него в дровах, которые в санях были.

В полене Воробьев прожег дырку и туда сыпал золото, близко к полфунту, дырку замазал, застрогал, и не заметишь.

Отвели делянку при «Компании» старателю Купцикову. Делянка оказалась богатимая. Известно, что эту делянку у Купцикова сей минут отобрали, как только обнаружилось голимое золото, и отдали «бабушке»,—это так называли любимчиков смотрителя Дунаева на Царево-Александровском прииске.

Купцикову жалко свои труды.

Ночью он взял мешок, кайло и тихонько накопал кашней скварцу с золотом.

Золото то слилось в камнях.

Сколь мог унести, пуда два али больше. Спрятал в болоте, где теперь продснаб, а потом искал, искал по ночам—не нашел.

Мне уж перед смертью своей сказал:

— Ищи, Андреевич! Там оно—золото-то.

Я не искал—давно это было! Может, старик запомнил, где спрятал. Кто знает? А место он мне показывал, старик надежный, не вертушка какой-нибудь и не пьяница.

Только жалел, что золото-то пропадет, и божился, что верно это.

Случилось это в 1903 году после расстрела златоустовских рабочих на Царево-Александровском прииске, близ Миасса.

В те годы управителем компанейских промыслов был Моисеев Модест Васильич. Больно он прижимал старателей-хищников, самолично с казаками делал облавы на нашего брата, как на зверей лесных. А еще лютее управителя были казаки Буровин и Суханов.

А хищничали мы, старатели, потому: ежели взять допуск на работу, то золото надобно было сдавать «Компании» по 2 р. 40 к. золотник, а скупщики золота, миасские богатей, скупали по 4 р. 50 к. золотник. Вот старатель и хищничал, отсюда и слово «хищники».

Только слово это больше подходило втупор к начальству промысловому, потому, казаки, золотничные и управитель не уступали в своей злобе к старателю—хищному зверю, а то и похуже зверя были.

Вот однажды казаки Буровин и Суханов налетели верхами на промывку к старателям, фамилии которых я хорошо не помню. Не то Макаров и Петров, не то по-другому они прозывались. Скорее Макаров и Петров,—было это дело, действительно, и о том по сию пору старики помнят.

Макаров с Петровым побросали снастешку и кинулись в лес от казаков, а те их настигли и избили нагайками до полусмерти.

Мужики казаков просили, да те озверели в злобе лютой.

Старателей полуживых оставили в лесу, снасть изрубили, поломали, а сами угнали верхами.

Вдолге очнулся Петров после казаков, осмотрелся кругом. Никого. Вечерело. Рядом на траве лежит Макаров, лику на нем не знать: кровавые рубцы да синяки только.

Кое-как запряг Петров лошадь в тележку и повез товарища в Миасс домой. Вскоре Макаров умер.

Облетела весть промысла о злодейском избиении старателей. Подали начальству мужики жалобу.

После воли, бывало, били старателей, но не так, милостиво, а тут такое—до смертоубийства дошло, и начальству скрыть и ушомкать это никак невозможно было.

Как ни старался управитель Моисеев взятками да знакомствами заступиться за своих служак, а пришлось Буровину и Суханову в тюрьму садиться до суда.

Управителю Моисееву все-таки удалось «замять» дело. Буровин вернулся в Миасс, изрядно «помятый» в тюрьме старателями.

Вскоре, отдохнувши, Буровин начал действовать.

Однажды с помощью казаков он сделал налет верхами на кизнекеевских старателей-хищников.

Но кизнекеевские ребята были не промах и проучили Буровина.

Когда Буровин наставил ружье в дверь балагана, в котором были старатели, те схватились за ружье и втащили Буровина в балаган. Обезоружили.

Казаки угнали верхами.

Хорошую «память» дали старатели Буровину и отпустили только тогда, когда казак поклялся больше не притеснять хищников-старателей.

Взбеленный управитель и решил самолично проучить хищников.

Как-то однажды робыли кизнекеевские большой партией—хищничали около Царево-Александровского прииска. Видят: скачут верхами казаки с управителем Моисеевым, машут нагайками, ружья берут на прицел. Старатели чуяли заранее, что начальство не оставит их в покое за Буровина и Суханова, и тоже кое-кто ружьишки имели. Началась перестрелка.

Кизнекеевские славились большой смелостью и ухваткой, и сумели они так сделать, что управитель в руки к ним попал, а казаки усаkali.

— Становись к станку!—скомандовали управителю старатели, а наперво «легонько» его так помяли—избили, значит.

Нечего делать. Встал управитель к станку—желомейке.

— Качай воду!

Позеленел аж от злости Моисеев. Весь день до темной зари качал воду деревянным насосом управитель, а как остановится, старатели в бок черенком лопатки:

— Качай!

Взмолился управитель:

— Пустите, ребята!..

— Робь знай!

Сделали сполоск, забрали золото, снасть и уехали старатели домой, а управителя отпустили и наказали:

— На глаза больше не попадайся и своим холоум-казачишкам передай то же... Дашь слово?

Пришлось управителю согласиться.

Только слово начальства оказалось «до порога».

Бить-то старателей как будто не стали, зато за одну долю золота, как поймают, бывало, ссылали в Сибирь на десятки лет.

Не мытьем, так катаньем донимали старателя.

4. ДВА САМОРОДКА

Начну наперво издалека, с жизни старательской старорежимной. Верстах в шестидесяти от Миасса содержал золотые прииски около села Вознесенского золотопромышленник Жуковский Н. Г.

Управитель на приисках был в то время Борисов. Строгости у Жуковского были большие, а вознесенским старателям хоть бы что—смелые были. Работают себе без допусков, хищничают, значит.

Бывало, не раз захватывали казаки хищников на работе, да только вознесенские ребята не промах. Хищничали они всегда большими артелями. Сгрудят казаков и заставят их вместо себя работать—золото мыть, а сами сидят себе, покуривают, ухмыляются да на казаков посматривают, поторапливают.

— Шевелись, казара!

После сполоска заберут золото, на лошадей—и ходу, а казакам накажут:

— Езжайте домой да больше не попадайтесь!

Преследовало начальство хищников-старателей—ловили, ссылали в Сибирь, да только не помогало это, хлеб старателя заставлял хищничать.

Скрывали золото от «Компании» и те старатели, которые работали по допускам, и опять-таки по той же самой причине. Намоет золота, сдаст «Компании» для отвода глаз несколько золотников, а больше того—скупщикам.

Так, вознесенский старатель Петр Путилов наткнулся на богатимую золотую жилу. Работал с допуском—по закону, значит. Золото «Компании» меньше перепадало от Путилова, чем скупщикам, и проведал о том Жуковский. Дал распоряжение изловить Путилова с золотом. Я был в то время уже горным десятником. Поехали мы с штейгером Горбатовым, казаков прихватили. Время было летнее. Ночь—хоть глаз выколи—темная. Приехали к делнице Путилова. Никого. И звука кайла не слышно.

Глянули, а на горе четыре огонька вспышками светятся в темноте. Догадались мы, что Путилов это с пайщиками курят. Услышали, верно, конский топот и бросили работу.

Решили ждать мы рассвета. Сидим у забоя, а сами с опаской посматриваем в темноту, в лес, прислушиваемся и сами про себя думку думаем: «Окружат нас мужики, может, много их, и заставят работать, а чего доброго и забучку дадут».

Сидели мы, сидели. Оторопь нас взяла. Кто их знает, что на уме у этих вознесенских? Ребята озорные.

Решили поехать обратно и доложить управителю Борисову. Попросту сказать, маленько трусили. «Пусть-де большое начальство голову подставляет».

Борисов обругал нас,—матерщинник был,—и погнал на паре лошадей, мы за ним.

Рассветало. Смотрим, пока мы ездили, старатели вozов несколько увезли из забоя-то. Жилы, значит, золотой. Управитель разошелся.

Ругается матерщиной и готов нам зубы повыбить. Папирску закурит, бросит и опять закуривает новую.

Наматерился досыта, присел на камень около забоя старательского. Курит.

Мы молчим, стоим около.

Солнышко показалось.

Глянул я на камень, на котором управитель сидел, а камень тот так и светится на солнце.

— Господин управитель,—говорю,—а вы ведь на золоте сидите!

Борисов скосил на меня глаза. Не понимает.

— Гляньте-ко!—показал я на камень.

Вскочил на ноги управитель. Камень оказался скварцевым слитком с голым золотом.

Старатели ночью не могут заметить—и выбросили этот камень из забоя, оставили.

Из этого камня «Компания» взяла золота тридцать восемь фунтов. Делянку у Путилова отобрали и не допустили его больше к работе.

Жила оказалась с богатым самородком золота.

И таких, подобных случаев в старое время было не мало, когда старателя гнали с богатой золотом делянки и все его труды пропадали даром.

А теперь я расскажу о втором самородке, жиле золотой. Я сызмала по приискам. Еще в 1907 году на Царево-

Александровском прииске, теперь Ленинском, я знал о богатом месторождении золота. В старое время царское правительство не давало никакой помощи старателю, а только на его горб надеялось. А чтобы пробить шахту и до золота дойти, на это нужны были деньги, а деньги, как известно, были только у богатых, а если богатый дает денег, так ему надо было дать «сухой пай», то-есть он кайла в руки не возьмет, а пай ему дай, да и долг отдай.

Бывший Царево-Александровский прииск не узнать. Теперь на Ленинском прииске моторы, механические золотопромывальные машины, электрические драги, фабрика бегунная, мощные водоотливы. Прииск залит электрическим светом. Школа, клуб, звуковое кино, больница, столовая... всего и не перечесать.

Так вот. Пришел я к дирекции Ленинского прииска и заявил:

— Знаю, где золото! Помогите взять его.

Дали мне четыреста рублей наперво и необходимое оборудование. Организовал я бригаду. Не ошибся. Золото пошло богатое. Еще дирекция дала нам пять тысяч рублей, предоставили нам насосы, моторы.

За короткий срок наша бригада взяла самородочного жильного золота семь с лишним килограммов.

Продолжаем делать выборки. Работа спорится. Члены моей бригады ребята работающие—хорошие.

Молодежь одевается в такие костюмы, в каких хаживал, бывало, в старое время только хозяин приисков да управитель. Дни отдыха проводим культурно-радостно.

И таких бригад на Ленинских приисках не мало.

Старатели теперь себя за людей признают.

Золото теперь не горе, а радость приносит старателю.

РАССКАЗЫ ГРАНИЛЬЩИКОВ

1. СЧАСТЛИВЫЕ КАМНИ

В то время, в которое еще не было революции, при царском положении, много лет назад, было распространено среди людей поверье, что камни-самоцветы влияют на судьбу человека. То-есть люди разговаривали о том, что самоцветы счастье приносят. Например: обладатель изум-

руда избавляется от всяких болезней. У кого есть александрит, тому вечная удача и успех в задуманном деле.

В магазинах Екатеринбурга,—так назывался тогда нынешний Свердловск,—в магазинах, где продавались драгоценные камни, покупателям предлагали небольшую книжечку печатную, в которой подробно излагались всевозможные волшебные свойства камней-самоцветов.

У меня тоже была печатная такая памятка, да за ненужностью я ее потерял. В ней разное было напечатано. Однако, я полагаю, что все это чепуха.

Камни, если они сработаны как полагается,—действительно, теперь для глаза радость, и мило глядеть. Но тогда...

Торговцы пользовались этим поверьем среди людей. Малоценный какой-нибудь камень торговец норовил продать подороже, потому что камень волшебный, счастье приносит.

А какое счастье, вы увидите из такого случая.

Вот тут жил в Свердловске, при царском положении, гранильщик один. То-есть жило их тут много, но расскажу про одного. Его история очень похожа на историю всех. Звали его Ефимом Дмитриевичем, Яковлев по фамилии. За жизнь свою он переимел в руках все камни: и гранаты, и цирконы, и сапфиры, и изумруды, и фенатиты, и топазы, и аметисты, и рубины, и хризолиты, и тяжеловесы, и турмалины... Одним словом, не было на Урале такого камня, который мимо рук Яковлева прошел. Я про род камней говорю. Ну и скажите пожалуйста, не видел он счастья! И не дожил до него. Лет двадцать пять времени—скончался.

Давнишнее было время—в ученики меня по контракту отдали хозяину Липину. В те годы гранильная фабрика,—так рассказывали старики,—распродала все самоцветы, после уничтожения крепостного права, и работала больше по яшмоделию. Для увеселения царей работала: вазы делала, саркофаги и другие тяжелые предметы. Оплата рабочих была слабенькая—семнадцать рублей в месяц платили. Люди, которые потолковее насчет камня, те дела по рукам на фабрике не имели. Гранильщики, ювелиры, которые были, граверы—эти на предпринимателей-хозяев в тот момент работали.

Вот отдали меня в ученики к Липину. Определил Липин меня к гранильщику. Тут я и увидел товарища Яковлева. Высокий, худой, как этот Дон-Кихот каслинского литья. Борода черноватая. Развитие гражданское он имел слабое. Высказывался всегда медленно, гордо, а говорил неизвестно что и к каждому слову присказку добавлял: «Совершенно что».

Вот спросят его:

— Ефим Митрич, война-то чем кончилась?

Тогда китайская война была.

А товарищ Яковлев сделает рукой такой неопределенный жест, по воздуху проведет и отвечает:

— Война... совершенно что... Постреляли, постреляли... совершенно что, переходи на нашу сторону.

Вот такой был в гражданском развитии товарищ Яковлев. Но по камню имел он большое умение. Все свойства и капризы камней знал. Вот хозяин Липин дает ему аметист. Камень весь белый, хуже стекляшки. Только капелька одна лиловая в боку. Словно в стекляшку кто внутрь чернил химических капнул. По-нашему, куст краски. Куда камень такой годится? На взгляд хуже всего. Покрутит в руках тот камень Ефим Митрич, и так и этак посмотрит его, молча все это, и начнет огранку вести. Спервоначала придаст ему приблизительную форму, дальше-больше, и в конце процесса, глядишь, отдает хозяину вместо стекляшки белой камень дорогой самоцветный. Камень горит, переливается. Дело-то в том, что товарищ Яковлев знал, как гранильщик, что куст краски надо поместить в самый испод. Испод—это наше слово, уральское. Помню, как меня Яковлев учил этому слову. Положит камень, сделает неопределенный жест и говорит:

— Вот лежит камень, совершенно что, а под ним вода течет, совершенно что... Откуда она течет? Из-под камня... из-под, совершенно что... Понимаешь: из-под, испод. Испод—это значит самый испод камня... совершенно что.

Товарищ Яковлев знал, что ежели в правильно ограненный камень куст в самый испод направить, тогда весь камень цветом залется, как водой самоцветной... Оттого и говорят: камень чистой воды...

Тут, конечно, нужно умение. Ежели куст чуть-чуть вбок пошел, ну и все пропало. Одна грань лиловая, густая, а остальные белые. Обесцвеченный камень. Больше полтинника не стоит.

И ни за что в жизни, бывало, не держит при заправке Ефим Дмитриевич аметисты над самым огнем. Нельзя. Аметист имеет природу выгорать от огня. Краску теряет.

Ефим Дмитриевич и гранил и шлифовал камни, как полагается. Вот, например, фенатит. Этот камень имеет свои свойства, свой каприз. Торцевая сторона не дается огранке ни на сухом, ни на мокром. Надо впросух. То-есть надобно, чтобы на трепловом кругу, на котором происходит огранка, было ни сухо, ни мокро, а когда просыхает. Здесь надо большое умение и знание дела.

Одним словом, Яковлев был, если говорить по-теперешнему, мастер большой квалификации, и камней он пердержал в своих руках на своем веку многое множество. А счастье-то он имел, я вас спрошу? Принес ли ему счастье, удачу камень какой-нибудь? Скажу прямо—нет. При всем своем умении Яковлев жил плохо, бедно. Прямо говорить—хуже нищего. И в пьянстве. Редко он был в трезвом виде и состоянии.

— Я,—говорил он,—когда трезвый—злой очень на хозяев, совершенно что. А для моего организма это вредно... совершенно что...

Ну и пил. И утром, и в полдень, и в полночь. И жена его тоже пила. Бывало, дает он ей тридцать копеек и говорит:

— Иди, Наташа, совершенно что, принеси сороковку. Это значит—полбутылки.

А она обижается:

— Сороковку! А мне не надо? Чего же это я буду по грязи два раза бегать?.. На бутылку давай.

А он вздохнет и даст. А как напьются, сейчас у них драка.

Ни из-за чего, прямо по пьяному делу.

А то, бывало, зайдет к Яковлеву кто-нибудь из гранильщиков. То ли камень показать, который достал по шмуку... Шмук—это так называлось воровство от хозяина... То ли просто так. Посидит гость, о делах поговорят. Конечно, водка на столе. Сначала пьют за деньги, а потом одеженку в кабак понесут, и до тех пор, пока голыми не предстанут.

И гость и хозяин—в чем мать родила.

В общем, Яковлев одевался плохо. Хуже нищего—в отрепьях да заплахах. И очень страдал через это, потому что в бога верил и в церковь хотел ходить. А только не мог: стыдно было в нищенской одежде к богу пойти. Людей совестился. И через это пил еще больше.

В остальное время жил—прямо удивляться можно:

сверх всякой возможности. Утром возьмет у хозяина два дешевеньких аметиста для огранки. Посидит за ними до обеда, огранит, отшлифует. Получит по четвертаку за камень—полтинник. И сейчас своей старухе:

— Наташа, ступай за водкой, совершенно что...

Выпьет и обратно идет за двумя камешками. И к вечеру их огранит, отшлифует и снова:

— Ступай, совершенно что, за водкой.

И это каждый божий день,—хоть в будни, хоть в праздник, хоть в пост, хоть на насху. Одну бутылку кончил, за другой тянется.

Надо прямо сказать: при всем своем пьянстве, при всей своей бедности—честный и гордый был человек. Чужой даже искорки не возьмет... Искорка—камень такой, мелкий, осыпь. И шмука не делал.

Тяжелая, в общем, была жизнь его. Детей он имел четверых. Но дома они не жили. Порастыканы они были по чужим людям, в прислугах жили.

Один из сыновей его—ну, прямо, идиот был. Зачат от пьяного отца и пьяной матери,—что толку?

Сам Ефим Дмитриевич Яковлев верил в эти самые предания насчет счастья и камней. И все, бывало, камня счастливого дожидался. И в бога верил. Как ложился спать, все крестится да молится... Хоть трезвый, хоть пьяный, стоит, высокий, худой, как этот Дон-Кихот на картине, и поклоны бьет... Видно у бога счастливого камня просил.

А умер товарищ Яковлев в самой нищете. В гроб не в чем было положить, хоть у соседей белье занимай.

А ведь за жизнь свою много камней передержал он в руках: и изумруд, и аквамарин, и александрит. Все камни имел он. А счастливого не нашел.

И кто это счастье видел из рабочих при царском положении?

Вот вроде Яковлева был у нас Чеканцев. Тоже мастер по камню—гранильщик. И у этого счастье было, как у Яковлева. И этот тоже пил. Горе... Ненависть у него была к тем, на кого работал. Этот допился до горячки. Он бросился под поезд. И много таких было гранильщиков.

Почему же они пили? Я скажу прямо: раньше мастерские были—алкогольные гнезда. Ученика мастер посылает за водкой. Не пойдет ученик—мастер ему ничего не покажет, ни про какой каприз камня не разъяснит. Ничему

подросток не научится. А пойдет—мастер сначала сам выпьет, своим друзьям поднесет, а потом ученику дает стакан и говорит:

— Пей!

Отказываться не смели. Вот так и втягивались сызмальства.

А хозяину, конечно, выгодно было иметь дело с пьяными мастерами. Легче было в кабале держать. И обесчитать можно и недодать. И я так полагаю: предание насчет счастливых камней—чепуха это, затемнение мозгов. Дурман, как говорится.

Когда рабочие взяли власть в свои руки, тогда, конечно, все камни для людей стали счастливые. Взять звезды на башне Кремля, которые мы делали. Они, действительно, показывают человеку счастье.

Но тут опять вопрос: а может быть, предание про счастливые камни правильное?

Но только один факт я вам скажу: раньше, при царском положении, не было рабочему человеку счастья ни при счастливом камне, ни без него...

2. ЗАЧЕМ Я УЧИЛСЯ

Мой отец был маляром, и жили мы не при достатке. А когда мне дошло тринадцать лет, стал отец поговаривать, чтобы отдать меня куда-нибудь в контракты. Контракт—это соблазнительное слово: будто двое договорились про разные условия и обоим это на радость. Но что фактически значило это слово, вы узнаете из моей детской жизни.

Весьма скучно было тринадцатилетнему мальчику идти в контракты. У меня тогда были мечты, что в контрактах я потеряю природу жизни и не буду видеть восходов и закатов солнца, потому что слышал я, что такое контракты, и попаду в кабалу.

В таком печальном настроении мне исполнилось четырнадцать лет.

Тогда отец сказал мне:

— Пойдем.

И повел к владельцу гранитной фабрики Липину. У писателя Помяловского правильно описано, как отец такого подростка упрашивал хозяина. Я не буду повторять писателя, а приведу из своей жизни один факт.

Когда отец упросил Липина взять меня в контракт, Липин и отец вышли на крыльцо.

Подают Липину лошадь, рысак, в пролетку запряженного. На козлах кучер сидит истуканом. Сел в пролетку Липин и говорит отцу:

— А ты чего же стоишь? Садись!

Отец пристроился в пролетке возле Липина и чувствует себя несмело. Я тут же кручусь возле пролетки. Отец смотрит на меня жалостливыми глазами. А потом, видимо, набрался духу и говорит Липину:

— Не знаю, как с сыном быть...

А Липин говорит:

— Он молодой, и сам добежит.

Ну, тогда отец мне и говорит:

— Ничего, ты молодой, и сам добежишь. Беги, сынок.

А у самого, вижу, глаза печальные.

Они поехали, а я побежал за ними. Погода не очень благоприятствовала. Как на грех, лошадь попалась хорошая, рысак. Бежит она, и я бегу следом. Наконец добежали мы до ремесленной управы.

Сейчас дико все это слушать вам и, конечно, хочется знать, что же значат эти слова: ремесленная управа. Это такое было заведение, которое распоряжалось жизнью и трудом ремесленного люда. В этом заведении засели прогоревшие помещики и их подпевалы—хозяева разных мастерских, и они делали в управе все, что им было выгодно и интересно.

В этой управе отец и Липин подписали на меня контракт, то есть условие, по которому отец отдавал меня Липину в учение на четыре года. По сути дела, отец отдавал меня Липину в рабство. Ни отец, ни мать теперь уже надо мной власти не имели никакой. Вся реальная власть по закону принадлежала Липину. Теперь уже Липин имел все законные права распоряжаться моим временем.

Он распоряжался, как хотел. Даже липинская кухарка могла послать меня в лавочку то за лавровым листом, то за дрожжами. Летом я помогал в саду да огороде, а зимой кучеру помогал за лошадьми ухаживать. Эти четыре года были очень тяжелыми в моей жизни. Сколько слез было пролито мной, сколько принято было мной разных неприятностей,—не стоит и говорить. Много книжек написано писателями про эти дела.

Но за что же я принял все эти нерадостные дни и годы?

Есть ли какой в этом смысл? Или, может быть, это просто была прихоть Липина да горькая нужда моего отца?

За время учения у Липина я подучился за четыре года гранить камни, рисованию подучился. Граверному делу выучился. Но я строго разбираюсь в словах и поэтому говорю—всему этому подучился самотеком. Недалеко от дома Липина была церковь. Все ученики и рабочие должны были в эту церковь ходить по праздникам. Ходил по обязанности и я. И вот в этой церкви заметил я, как красиво, по-художественному расписаны потолки и стены. Рисунки мне очень понравились. Однажды после церкви я пришел домой и все мечтал, как бы нарисовать такой рисунок, какой видел я в церкви. Ночью, когда все легли спать, я принялся по памяти воспроизводить церковные рисунки. Рисовал я так долго, что уснул над рисунком. Просыпаюсь. Все уже встали. А рисунок мой, который я столь любовно и заботливо рисовал, весь залит чернилами... Кто смел это сделать? Я прямо чуть не плачу от обиды. Оказывается, это сделал сам Липин. Сделал он это для того, чтобы я по ночам не тратил его хозяйского керосину...

Все же на четвертый год учения я уже умел и камень выгранить как следует и кое-что мог смастерить из камня—портрет вырезать или печатку с гербом.

Тут, конечно, может возникнуть такой вопрос: а кому же нужен аквамарин в колечке? Или кому радость от брошки с изумрудом? И какому приставу или дворянину нужна печать с гербом? При чем тут трудящиеся массы? Есть ли какой-нибудь толк в моей работе для трудящихся масс?

На все эти вопросы раньше, при царском положении, я мог бы вам ответить просто: никакого толку трудящимся массам в моей работе не было. Но теперь, когда у нас прошла революция, я на этот вопрос отвечу вам фактом из моей жизни.

Недавно один военный, капитан, принес мне на гранильную фабрику заказ. Надо значок сделать из камня—переходящий приз для лучшего стрелка города. Принял я заказ. Хожу день. Хожу два. День и ночь придумываю систему камней, из которых можно сделать значок покрасивей.

Человек — не животное. Родился человек. И когда он маленький, он все стремится и тянется к блестящим разным предметам. Ему надо яркую игрушку.

Потом подрос человек. Уже штанишки ему надо надевать и курточку. И он все просит отца и мать про новый костюмчик.

И когда вырастет совсем большой, не любит он ходить в драных брюках или в рубашке с заплатами.

А почему это? Потому, что человек—не животное и имеет стремление к красоте. Красота возвышает человека, радует его, наполняет достоинством. Чем дальше развивается человеческое существование, тем требовательнее, придирчивее человек становится в своих требованиях к красоте.

Я хорошо это чувствую на себе.

Когда я продумывал значок, который заказал мне военный, я решил сделать значок покрасивей. Это ведь только маляр—возьмет кисть да мажет взад-вперед, и все у него зелень да зелень. А здесь дело художественное. Надо камни так расположить, чтобы глаз, глядя на них, радовался да отдыхал.

Сделал я значок шести тонов: из стальной калканской яшмы, из яшмы сургучной, из кремового типографского камня и из голубого мрамора. А в копье золоченое звездочку рубиновую вставил.

Смотрю я на готовый значок и наслаждение душевное чувствую. Пришел заказчик. Вручаю ему значок. Он посмотрел и удовлетворенно говорит:

— Теперь наши стрелки никому этого значка не отдадут. Из-за этого они теперь еще лучше стрелять будут!

И вижу я, как ему понравился мой значок. Я это заранее знал. Как посмотрит стрелок на такую прекрасную вещь, сразу у него появится пламенное желание завоевать этот значок. Прицел у стрелка вернее станет.

Значок-то этот вышел лучше всякой другой агитации.

И вот вы после этого рассудите сами: если камень, который я художественно сделал, может агитировать за укрепление обороны нашей социалистической родины, даром ли я пробежался тогда от квартиры Липина до ремесленной управы?..

Кабы Липин знал тогда, что будет теперь, не поехал бы он на рысаке, а сам бы рысью предпочел пробежаться, только подальше от управы бежал бы... Хотя это ему не помогло бы. Все равно жизнь идет так, как этого трудящееся человечество требует. И теперь массы сами сделались хозяевами красоты и роскоши.

В Сталинской Конституции, в 12-й статье, есть один пункт, в котором говорится: «От каждого по его способности»...

Этот пункт к нашему разговору. Он говорит, что все наши способности мы должны усовершенствовать. А жажда красоты, эта способность—одна из самых первых.

Сталинская Конституция это нам доказывает. Пункт-то про способности человека—он по месту маленький, по словам коротенький. А смысла в нем собрано много. Это все равно как в искорке самоцвета. Сама маленькая, а света в ней собрано столько, что прямо радугой блестит.

Я так думаю, что в Конституции каждое слово выгравированное. Много пришлось мастеру посидеть над станочком, чтобы каждый пункт выгравировать, как полагается. Много пришлось поработать и вождю нашему, и партии коммунистической, и всему рабочему народу, чтобы добиться такой Конституции.

Сталинская наша Конституция—это искусство большого мастера. Только сравнивать нашу работу с работой мастера, который сделал такую Конституцию, нельзя. Мы камни сграниваем, а он огранивает жизнь. Это потруднее. И огранка у него более художественная. Я уж не знаю, как сказать, как называется такая огранка. Можно сказать: сталинская огранка.

Когда товарищ Сталин делал свой доклад на съезде про Конституцию, он сказал:

— Приятно и радостно знать, что кровь, обильно пролитая нашими товарищами, не прошла даром...

И правильно сказал: приятно и радостно. Я прямо скажу: когда смотришь на нашу новую Конституцию, она играет и переливается в наших глазах, как дорогой рубин, которого еще не видели на свете.

Великий наш вождь дал нам понять Конституцией, что мы должны делать дальше. Он дал нам, как теперь говорится, программу, и мы должны ее выполнять.

И в честь Конституции, и в честь пункта про способности я думаю сделать из калканской яшмы портрет товарища Сталина.

И пошлю ему—от рабочего Свердловской гранильной фабрики Анатолия Подкорытова.

3. ДВЕ ГОРКИ

В 1913 году екатеринбургский богатей, имевший свою гранильную мастерскую, Липин заказал мне сделать горку.

Он дал мне ключи от кладовой, в которой хранились у него матерпалы, и сказал:

— Бери, что надо. Материала не жалеи. Сделай, чтобы было красиво. Я за ценой не постою. А пока на тебе на харчи двенадцать рублей.

Я выбрал кристаллы, которые покрасивей, и принялся за работу. Эту горку я делал у себя дома. У меня теперь под руками были ляпис-лазурь, аквамарины, яшма, топаз, плавииковый шпат, хризолиты, рубины... Все цвета, все оттенки, какие только создаст природа, были у меня под руками.

И вот я приступил к работе.

Есть один секрет в работе над горкой. Вы задумали идею. Ваша фантазия приказывает вам сделать вот так. Вы сделали скелет. Берете в руки кристаллы. Притесываете их, подгоняете. И вдруг оказывается, что материал не может выразить ту фантазию, которую вы задумали. Он выражает другую. А для другой надо другую горку делать. Другой формы. И иногда приходится менять даже самый скелет.

Поэтому надо сначала хорошо посмотреть, какой у вас под руками материал.

Рассмотрел я материал, который взял в кладовой у Липина, и вижу: надо сделать трехвершинную горку с боковыми отрогами. Это поможет мне вместить больше пород.

Стал я работать над горкой. Работал я больше месяца. И дневал и вечеровал над ней, а иногда захватывал время и у ночи. Двести пород камней вложил я в горку.

Работа над горкой сложная, кропотливая. Я должен вам объяснить, зачем люди придумали делать горки. Не зря это, не прихоть, а научное дело.

Горка—это просто говорить: коллекция камней—самоцветов и минералов. Но между коллекцией камней в ящике и горкой существует разница.

В ящике кристаллы не целые, а осколки, части кристаллов.

В горке кристаллы целые, не отколоты, а такие, какими их природа создала.

В ящике камень мертвый, ни к чему не принадлежащий. А в горке камень живет общей с другими камнями жизнью.

Тут может возникнуть вопрос у вас: почему мы на одну горку говорим «красивая», на другую «нет»?

Тут правила есть, которых должен придерживаться мастер в горке. Первое правило—камень в горке должен лежать не боком, а так, чтобы зритель видел самую кристаллизацию камня, чтобы человек наглядно понял разницу между, скажем, кристаллизацией топаза или аметиста.

Второе правило—горка должна быть ближе к природе, то есть сочетание цветов и пород должно быть такое, какое бывает в природе. Не выдуманное, а настоящее.

И третье правило—это расцветка. Горка не должна быть серой, скучной. Она должна быть цветистой, яркой, радостной.

Над липинской горкой я работал без переделок. Материалу у меня была такая масса, что я целиком воплотил в жизнь всю мою фантазию.

Однако должен вам сказать прямо: у меня и мысли не рождались, что я занят творческой работой. Вернее сказать, такой формулировки у меня не было. Никто тогда на нашу работу не смотрел как на творческую. Мы считались не художниками, а ремесленниками. Долгие годы практики делали из нас специалистов своего дела, но вся публика, да и мы сами думали, что наша работа—это ремесло, доведенное до совершенства.

В работе над горкой, которую заказал мне Липин, я больше всего старался, чтобы она понравилась Липину и будущему покупателю. Бессознательно мною руководила мысль, которая убивает всякую творческую радость при капитализме: я хотел угодить покупателю.

Кто этот покупатель? Неизвестно. Русский он или черноволосый? Высокий или низкий? Храбрый или трус?..

У этого покупателя, должно быть одно только: деньги. Конечно, предполагалось, что у него есть какой-то там вкус, но главное—это деньги.

Трудно рассказать словами, как во мне боролись тогда два человека: художник, еще не сознававший, что он художник, и ремесленник, зависящий от капризов рынка...

Липин сказал, когда давал материалы:

— Сделай красивой, за деньгами не постою.

И я работал, как мог. Я думал, что после трудной работы я получу хорошее вознаграждение. Конечно, иногда я боялся: вдруг горка не понравится Липину?

Два раза в течение тридцати пяти дней работы я приходил к Липину за деньгами.

— Нет на харчи,—говорил я,—дайте еще.

Он давал мне каждый раз по десять рублей.

Наконец, я сделал горку.

Липину она понравилась.

— Сколько же тебе заплатить?—спросил он.

Я сказал, что по моему расчету выходит сто пятьдесят рублей.

Липин посмотрел на меня так, словно я сумасшедший. А потом рассердился и стал кричать:

— Тут материала меньше, чем ты взял у меня! Ты из моего материала делал горки для продажи... Ты ограбил меня! Все вы только и думаете, чтобы шмук у хозяина делать...

Он кричал, подбирая самые бранные и оскорбительные слова. Потом он как будто успокоился и сказал:

— Забирай себе горку... Не надо мне ее... Заплати мне за материал и иди к чорту вместе с горкой.

И он потребовал с меня за материал сто восемьдесят рублей.

Он знал, что он говорил. Он знал, что ста восьмидесяти рублей у меня нет. Знал, что взять мне их неоткуда... Да и материал, кстати, не стоил этих денег. Он стоил рублей двадцать, не больше.

Что же мог говорить я Липину? Я, конечно, молчал. Потом я вынужден был согласиться получить с него столько, сколько он захотел. А он дал мне десять рублей и сказал на прощанье:

— Ограбил ты меня, материала набрал, да еще пятьдесят рублей денег... Все вы грабители...

Горку, которую я сделал тогда, Липин продал за четыреста рублей. Она была совсем не плохая, та горка, которую я делал в 1913 году.

Летом 1936 года я приступил к работе над горкой для всемирной выставки в Париже. Эту горкуставляла артель «Цветные камни», членом которой я состою.

Конечно, нашу артель, как вы видите сами, по богатству нельзя сравнивать с Липиным: он, конечно, богаче нас был... Да, впрочем, мы работу только-только начи-

наем. И подход к делу у нас другой. А Липин грабил старателей и рабочих десятки лет, ну и накопил.

Для горки, которую я делал этим летом, у меня не было той массы материалов, как для горки, которую делал я Липину тогда. И все же моя горка 1936 года вышла лучше, чем горка тринадцатого года.

Во-первых, я, работая теперь над горкой, задался новой идеей. Мне пришла фантазия показать не только богатство нашей уральской природы, но и того, кому принадлежит и служит это богатство.

Во-вторых, я знаю, что в природе нет ничего мертвого: все живет. Каждый камень, каждая руда переживает три периода: период рождения, период расцвета и период смерти. Но смерть камня—это значит рождение другого какого-то минерала. Например: малахит рождается из самородной меди и, умирая, превращается в хризакол. Нет в природе ничего вечного: даже алмаз, уж на что крепкий камень, и тот перерождается, если его поместить в известные природные условия...

И вот я хотел и эту сторону вопроса как-то выразить в своей горке. Я, как теперь говорят, вкладывал в свою работу всего себя, со всеми своими мыслями, чувствами, знанием...

На постаменте из молодого каменного угля-гагата стоит гора. В середине горы шахта. Вернее: штрек. В штреке горняк. Он разрабатывает богатейшие недра горы, грудью налегая на перфоратор. Над горняком нависла руда, бурый железняк, фиолетовый линштамет и десятки других пород...

Между прочим, заметьте, фигуру горняка мы сделали по макету художника нашей артели Ивана Семерикова.

В эту горку я вложил сто семнадцать пород кристаллов. Я их располагал так, чтобы самый придирчивый зритель, скажем, какой-нибудь профессор-минералог, не мог сказать:

— Так не бывает в природе.

Эта работа моя была совсем непохожа на работу при липинской горке. Теперь я не думал о покупателе. Я думал о чести нашей артели. Я даже забывал себя. Пусть те, кто будут смотреть на нашу горку, скажут: «Хорошо работает артель «Цветные камни»... Пусть они не упомянут фамилию Кубина—мою фамилию. Но пусть они знают,

что наша артель—это артель художников, а не ремесленников.

Первый раз в жизни я так сформулировал про свою работу: творческая работа.

Первый раз в жизни я знал, что работаю не из-за денег, а из-за чести...

Приведу только один случай: у меня хранится кристалл горного хрусталя. Мой собственный, а не артельный, редкий кристалл. Обычно кристаллизация горного хрусталя известно какая: шестигранник в виде ровного столбика. А этот был шестигранник с заостренной вершиной. Словно его, как леденец, обсосал кто-то. И вот, долго я хранил этот редчайший кристалл. Берег его.

При работе над горкой летом этого года я вдруг заметил, что в одном месте горки надо было бы поместить кристалл горного хрусталя. Форма горки, расположение всех других кристаллов требовали, чтобы в ней был хрусталь именно такой формы, какой хранится у меня. И я поставил этот свой кристалл. Я был очень рад, когда увидел, что он пришелся как раз по месту.

Наконец, горка сделана. Артель нашла, что горка достойна быть посланной на выставку.

Как же назвать то чувство, которое я испытывал тогда? Радость? Нет, не радость. Торжество? Нет, не оно. Гордость? Нет, не гордость. Я бы назвал это чувство—уверенность в своих силах... удовлетворение,—как раз то чувство, которого я никогда не испытывал, работая над всеми моими горками при капитализме.

После того как артель признала мою работу достойной выставки, у нас возник вопрос: а как же доставить горку в Москву, чтобы дорогой ей не повредило что-нибудь?

Решили, что доставлю в Москву горку я. И я поехал.

8 октября утром я приехал в Москву.

И, знаете, здесь случилось со мной, ну, прямо невозможное... В тот день, что я приехал в Москву,—8 октября, в газете «Известия», в газете, которую читают миллионы людей, я увидел свой портрет и портрет моей горки. И подпись: «Д. К. Кубин со своим произведением».

Это в тот же день, в который я приехал в Москву...

Словно ждали меня.

Какую лучшую награду может получить человек?

И невольно как-то передо мной встала тогда самая жизнь прежде и теперь.

Раньше—обиды, оскорбления.

А теперь—честь, почет,

4. ТУРМАЛИНЫ

Если бы самоцветы имели дар разговаривать, много бы они могли рассказать историй. Только невеселые были бы эти истории! Я, конечно, говорю о старом, царском времени.

Преданий про драгоценные камни люди столько рассказывали, что и не упомнишь.

То черти дали самоцвету власть губить всех, кто возьмет его. То ведьма заговорила кристаллы, и никак они в руки не даются. А то добрая сила до поры до времени прячет от людей самоцветы, которые потом, когда люди их найдут, счастье людям принесут.

Разные ходили предания.

А я хочу рассказать вам быль. Про то, как камни портили людей и как человек из-за драгоценных камней губил и честь свою, и гордость и пропадал потом за ничто.

Возле Баженова, здесь, на Урале, жил-был один мужичонко. Уж не помню, как его звали. Не то Петром, не то Матвеем. Мы его просто звали «Турмалином». Ну, назовем его Петром.

Хозяйство у него было плохонькое: корова, лошадь да соха. Занимался он хлебопашеством. Однажды заехал он пахать новую полосу. Пашет и вдруг видит: соха наскочила на что-то. Прыгнула. И выворотила из земли малиновые какие-то камушки.

Петр был простым человеком. В самоцветах он ничего не понимал. Вернее всего, и не слыхивал про них.

Однако камушки эти подобрал, в руке подержал... А у Петра были дети. Он их любил. Вот он и подумал: «Вот это деткам будут хорошие цацки».

Закончил он пахоту. Приехал домой, деткам отдал камушки. А сам снова хозяйством занимается. Посеял на полоске хлеб. Только полоска попалась неродючая. Плохо растет на ней хлеб.

Детям Петра камушки очень понравились. Играют они ими. Ну, и с товарищами своими делятся.

Вот в середине лета в ту деревню зашел один человек. Он имел понятие о том, что такое самоцветы, и если по дешевке попадались драгоценные кристаллы, он их охотно покупал.

Проходит он по этой деревне и видит: сидят на дороге ребята и камушками малиновыми играют. Вгляделся человек. Видит, что у парнишек в руках малиновая шерла. Турмалины! Он их спрашивает:

— Откуда взяли?

— Тятка дал.

Тогда человек велел, чтобы они проводили его к тятке. Увидел он Петра и спрашивает его:

— Где ты эти камни взял?

— На полоске у себя нашел,—отвечает Петр.

— А ну, покажи, где эта полоска...

Показал Петр. Человек увидел, что там в поле пролегал богатейшая жила. Стал торговать у Петра землю.

— Мне,—говорит,—для аптечного дела эти камни нужны... Для химических превращений.

Петр не знал, что такими химическими превращениями каждый может заняться: камни драгоценные в деньги превращать.

Не долго торговался Петр и продал землю человеку. Заплатил ему человек сто рублей.

А Петр доволен: думает, земля-то неродючая, а он мне сто рублей заплатил... Обманул, думает, я человека...

Только немного прошло времени, и Петр увидел, что не он обманул человека, а человек обманул его. На том месте, где обнаружили турмалины, выстроил человек целое предприятие—разработку турмалинов. И деньги тысячами потекли к тому человеку.

Тут Петр понял, что потерял он большие деньги. Обидно ему стало. А как раз еще и разговор услышал он соблазнительный среди тех, кто работал на разработках.

Вот будто здесь же, в Баженовском районе, случилась такая история: один старатель по камню спит и видит сон: спустился он в выработанную шахту и нашел богатейшие александриты. Проснулся старатель и попал в эту шахту. И действительно, после того как выбросил несколько лопат породы, попались ему александриты: чаша, а на ней кругом кристаллы. Много тысяч рублей получил за эти кристаллы старатель.

Такие разговоры раззадорили Петра. Еще обиднее ему

за себя стало, за свою простоту. Но по хитрости своей он подумал: «Я те похлеще найду клад».

И забросил он свое хозяйство и стал искать самоцветы. Несколько лет искал он, пока узнал толком, что такое драгоценный кристалл, как искать его, как его добывать.

Не раз обманывали его. Случалось, найдет он богатое местечко, добудет горсть кристаллов, несет их в город. Здесь зайдет он в пивную, где собирались старатели да гранильщики. И тут у него лучшие камни за бутылку пива купят, а на него ящие скажут:

— Это дорожное, это нам не по карману... Неси Баричеву или Липину... У них, брат, денег на все хватит.

Так узнал Петр и крупных скупщиков.

И вот однажды пошел он с камнями к Липину.

Встретил его Липин так, что Петр последний разум потерял. Дома-то он привык на соломе спать да хлеб водой закусывать, привык к тому, что все им помыкают да надеваются над ним, а здесь... нако-тебе...

Липин с ним за ручку поздоровался, в кабинет к себе проводил, усадил в мягкое кресло, по имени, по отчеству называет. Чай с печеньем предлагает. Вино, водку на подносе подносят, закуски такие, что Петр не знает, как приступить к ним. Растаял он. Одурел он совсем от такой чести. И стал он с тех пор прямо идти к Липину, как добыча попадет к нему в руки.

Липин у него, конечно, камни покупает задаром почти, но честь ему оказывает и за ручку, и в кабинет. А потом Липин так приручил его к себе, что стал свободно уже браковать у него камни. И то не так, и это не этак. Только хорошие покупает. А Петру все равно. Он за деньгами у Липина не гоняется. Ему лишь бы человеком себя почувствовать, пока в кабинете у Липина сидит.

Однажды Липин рассказал Петру, что нет драгоценнее камня, как изумруд. Только достать их трудно. На копях, где добываются изумруды, хозяева—французы. Охрана у них очень строгая. Чтоб в шахты пройти, надо осторожно по лесу мимо стражи ползком проползти. А еще чище будет, если Петр поступит на копи рабочим. И как попадется ему какой хороший кристалл, пусть он его проглотит... Изумруды—дорогой камень: в тысячу раз дороже, чем золото. Пусть Петр подумает об этом да и делает так, как найдет лучшим. А уж за деньгами Липин стоять не будет. Он озолотит Петра.

Думал, думал Петр, как лучше сделать, а самого жалость одолевает: хочется ему достать драгоценные изумруды.

Только опасно мимо охраны ползком ползти в лес, опасно, еще убьют. И решил Петр поступить на копи рабочим.

Поступил он на копи. Долго он работал, прежде чем попался ему хороший кристалл. А как увидел он этот кристалл, сразу же проглотил его... Только не удалось ему с кристаллом из копей выйти. То ли увидел его кто, как он глотал, или уж очень корчился он от непривычки к болям в желудке,—обнаружили, что проглотил он кристалл, и отправили его в больницу. Положили его там на койку. Кормят доотвалу. И горшочек ему подносят. Трое суток мучился Петр, все не хотел отдать камня, а потом не выдержал. На четвертые сутки вышел камень из Петра. Выписали его в тот же день из больницы и из копей прогнали.

Возвращаться в деревню к себе ему уже было незначем. Пока он странствовал да на копиях работал, семья все добро прожила, и дети разбрелись неизвестно куда. Пошел он по чужим местам, и здесь познался он с самыми темными людьми. Выучился он тут, между прочим, и мошенничеству.

В выработанных копиях в отвалах много валяется негодных кристаллов изумрудов, так называемые светляки. Вот возьмет Петр насобирает этих светляков. Возьмет постного масла. В постное масло медь бросит. Оно дает зелень. Или бросит туда зеленого фуксину. А потом эту смесь скипятит и варит в ней кристаллы светляков. А в кристаллах трещин много, и при варке смесь окрашивает их зеленью, заходя в трещины. Если посмотреть на такой хорошо сваренный светляк, то каждый может подумать: драгоценный изумруд.

Конечно, опытный гранильщик сразу видит, что в руках у него ничего не стоящий светляк. Вареный светляк. Если такой светляк бросить в нашатырный спирт, он сразу выдает себя. Зелень очень быстро сойдет с него.

Кроме светляков выучился Петр и другому мошенничеству—стекло выдавать за камни. Подшлифует, подкрасит и идет продавать.

Но и стекло легко узнавали наши гранильщики. Стекло легче, чем камень. Потом оно в пальцах теплое. Камень холоднее. В стекле игра ярче, а в камне тучнее. В стекле

игра застывая, без движения, а в камне жизнь есть, игра, как слеза, дрожит.

Не долго ходил в Екатеринбург со стекляшками поддельными и светляками вместо драгоценных самоцветов. Не везло ему. Вскоре все узнали его и просто смотреть не хотели на его стекляшки.

Мучился голодом Петр, мучился, и вот, наконец, невтерпех ему стало. Решил он тайно пробраться через охрану в изумрудные копи и набрать себе столько кристаллов, чтобы на всю жизнь хватило.

И вот однажды ночью ползком пополз по лесу мимо охраны. Пристрелили его. Не заработал он себе камни, а одно достал: похороны ему были бесплатные, на французский счет.

5. БАРИИ

Вот здесь, в Свердловске, то есть в Екатеринбурге, в конце города, на болоте, на Луговой улице жила семья портного Баричева. У старика было три сына. Двое старших портняжничали, а третий, младший, — Дмитрий, Митюшка — не захотел быть портным.

О нем и будет этот мой рассказ. Уже в те годы он сам определил всю свою дальнейшую судьбу и печальный свой конец.

Домик у портного был совсем малюсенький, и никаких хозяйственных построек при домике не было. И хозяйства у портного тоже не было. Ни коровы, ни лошади не было у него. Работа портняжская приносила доходы незначительные. И жила вся семья с прибыли, которую приносил огород. Грядок девяносто было у них разных овощей. Конечно, весной они нанимали людей, которые поделенно борошили землю на грядках.

Митюшке очень нравилось, когда осенью в доме бывала свежая копейка от продажи огородной продукции. Он в юности своей понял толк в торговом счастье и поэтому упросил отца, чтобы тот отдал его в ученье к гранильщикам. В то время гранильное дело приносило большие деньги тем, кто умел купить по случайности камни у хищников.

Отец согласился. Дмитрий поступил в ученье к гранильщику Затыкину. Договор составили только на один год. В то время ученики обучались года три-четыре, но Митюшка не захотел такого большого срока. «Мне, — говорил он, — и года хватит. Я и за год выучусь». По договору

он обязался сделать Затыкину работы в год на сто рублей. Если не сделает, Затыкин мог искать убытки с отца.

Ученик он оказался понятливый, шустрый. Он быстро понял кое-какие детали гранильного дела и через год уже ушел от Затыкина, сработав ему ровно на сто рублей. Дня лишнего не захотел Митюшка работать на Затыкина. Копейки лишней не захотел он ему выработать. И потребовал от него по контракту свидетельство подмастерья.

После того он стал брать работу у Липина. Только он брал работы у Липина столько, что одному ему никак не было возможности сработать ее. Он подыскивал себе четырех однолеток недоучек, тоже гранильщики, которые ушли от учения, и открыл у себя в домике мастерскую. А так как лета ему еще не вышли в совершеннолетие, мастерскую он завел не на свое имя, а на имя отца.

Он держал недоучек на своих хозяйских хлебах и каждую субботу оплачивал им по несколько рублей. Он вычитал с них за харчи. Сколько он оставлял себе от ихней работы, это нам неизвестно. Так проработал он несколько времени и видит, что работы прибывает. Стал Митюшка для мастерской подыскивать ученика.

Этим учеником поступил я. Мне у Баричева приглянулось жить. Отец у меня был бедный крестьянин. Семья большая. Кормить нас отцу не было никакой возможности. Даже хлеб у нас не всегда был. И ласку от родителей видели мы мало, разве только когда в люльке лежали.

Отец привел меня к Баричеву. В первый же день меня усадили за общий стол с хозяевами, и я покушал вдосталь и хлеба, и кой-чего до хлеба. Митюшка был веселый, ласковый паренек. Лет ему было в это время семнадцать-восемнадцать. Лицо у него было худощавое, но чистое и приветливое. И голос у него свежий, задушевный, товарищеский. Я остался у него жить и работать. Отец подписал контракт на три года. Я старался работать как мог, чтобы помочь отцу.

Теперь уже на Дмитрия работали пятеро: четыре горемастера и я. Мастера вместе с ним гранили камни, которые он приносил от Липина, а я им услужал и делал домашние дела. Старухе матери по хозяйству помогал, братьям утюги разводил. Иногда и до гранильного станочка меня допускали. А я как дорвусь до станка, работаю столько, сколько мне позволяли. Все старался, чтобы получить деньги да отцу передать.

Через год у Митюшки насобиралось двести рублей капитала.

Однажды, в пост, в субботу к соседу приехали крестьяне. Сосед зашел к нам и говорит:

— Хищники приехали из Полдневской. Хризолит привезли. Ты бы, Митюшка, поглядел. Может сосватаю тебя.

Митюшка захватил с собой весь свой капитал и ушел. Долго его не было. Наконец возвращается.

Отец сидит на катке и спрашивает:

— Купил, Митюшка?

— Купил, отец,—отвечает Дмитрий.

— Сколько?

А Дмитрий показывает два мешочка с камнями и говорит:

— Фунтов десять породы...

— Сколько дал денег, спрашиваю?—говорит отец.

— Денег? Все, отец, отдал...

Отец даже ахнул:

— Двести рублей! Ах ты, господи...

А тут на разговор мать Дмитрия прибежала в избу. Поварешка у нее в руках.

— Ах, ты,—кричит,—деймон лихой! Двести рублей. Что же ты наделал? По-миру нас пустишь... Они тебя обманули... Вот я тебя поварешкой по лбу...

А Дмитрий смеется:

— Ничего,—говорит,—мать, неизвестно кто—кого...

Вот как поставил вопрос в ту субботу Митюшка Баричев. Шустрый, понятливый был человек.

Денег у него теперь не осталось. Даже мастерам своим недоучкам не дал ничего. Он им сказал:

— Ребята, я купил надежную партию хризолитов. Все деньги вложил. Дать вам сегодня ничего не могу. Значит, вы должны это понять и соблюдать нашу общую выгоду. Давайте-ка скорей переработаем сырье, а через неделю я вас отблагодарю.

И он показал им свою партию. Мастера посмотрели, посмеялись: «Выйдет ли толк?» А потом решили, что обождут денег недельку и сработают эту партию как нельзя лучше. Уж очень умел Митюшка ласково обходиться с людьми. Люди ради него старались.

Через неделю переработали мы кристаллы, которые побольше. Камень был хоть и не крупный, но чистый и красивой зелени. Ну, прямо изумруд.

В воскресенье Дмитрий забрал ограненные хризолиты и понес их на базар.

Долго он был на базаре. Отец уж нервничать стал. Сидит на катке с брюками в руках и говорит мне:

— Посмотри, Паия, не идет Митюшка?

— Нет,—отвечаю,—не видать.

Часов возле двух вдруг вижу: к нашему домику извозчик подъезжает. А на извозчике Митюшка. Я кричу:

— С извозчиком приехал!

А отец пристыл к катку и молчит.

Вскоре заходит в комнату Дмитрий. Раздевается. Не говоря ни слова, вытаскивает из кармана пачку бумажек пальца в два толщиной и говорит:

— Отдавал десятками, а получил сотнями. Гляди, отец!

Отец от восторга даже брюки с рук выпустил...

За три с половиной тысячи продал Митюшка хризолиты.

Мастера подходят, ахают.

Дмитрий послал меня за вином, пивом, закусками...

Так началось счастье Митюшки.

Вскорости, в этом же посту, к нам в избу зашел еще один хищник. Он показал Митюшке кристалл, который похитил с изумрудных копей. Дмитрий купил этот кристалл за пятьдесят рублей.

Мастера как увидели покупку, так сразу им весело стало: очень уж большой был кристалл. Они говорили:

— Капюшоном надо сделать этот кристалл. Кавалдашкой.

А Дмитрий молчал. Он не надеялся на работу своих мастеров. Он знал, что эти недоучки могут производить только низкую работу. Они, бывало, хоть и стараются сделать для Митюшки поскорее да получше, все равно у них толку большого не выходило. Если сядут искру гранить, делают снизу две или три грани да сверху столько же и полируют. А Дмитрий знал, что в искорке полагается сделать сверху одиннадцать граней, а снизу восемь. Мастера-недоучки даже искорки не сумели сделать. Где ж им выграть дорогой изумруд?

Митюшка отдал этот кристалл гранить хорошему гранильщику на сторону. Хоть и светловатый получился камень, не такой густой зелени, все же Митюшка продал его за пять с половиной тысяч рублей.

Так в короткое время у него обозначился немалый

капитал. И тогда он приступил к постройке домика на Арсеньевской улице.

В это время он ценную работу всю стал отдавать грабить на сторону. На стороне на него работали человек тридцать.

Но и свою мастерскую он не забывал. И в новом доме работали мы с ним вместе. Хоть теперь он сам реже садился за станочек, потому что был занят покупкой самоцветов.

Жилось нам тогда у него хорошо. Кушали мы с ним с одного стола, и платил он нам жалованье аккуратно. Относился к нам добросердечно, и всегда такой ласковый, приятный. Придет в мастерскую, за плечи меня возьмет и спросит:

— Что наработал, чорт омелинский?..

И сам улыбается, да так ласково, хорошо, что рад ему сработать, сколько он захочет.

Проработали мы еще год. Сколько он заработал за этот новый год, я не знаю. Он теперь делал свои дела так, что мы не были в курсе событий. К нему теперь часто приходили хищники, купцы. Всех он лаской, обходчивостью привораживал. Он в это время покупал уже все камни, которые ему приносили. За деньгами остановок у него не было. Много покупал он тагильских хризолитов. Товару у него было столько, что на него теперь работали и скатеринбургские гранильщики и березовские, где были большие специалисты по искре.

Вот однажды в воскресенье купил Митюшка партию тагильских хризолитов. Выбрал из них один камушек и дает мне.

— Сделай бриллиантовую грань,—говорит он,—на восьмерик.

Сел я за станочек. Кристалл чистый, хороший. Цвет ясный, оранжевый. Величиной в горошину. Надо аккуратно сделать, двойные клинья надо огранить. Уж очень красивый хризолит. Начал я гранить его. Что ты скажешь! Хризолит, он мягкий. Он мягко, как стекло, должен был граниться, а этот никак не поддается. Я и так его проточивал и этак—ни туда, ни сюда. Может, думаю, кругом торцовая сторона. Непонятно. Весь круг свинцовый источил, а камню хоть бы что. Намучился я с ним. Отношу Митюшке и говорю:

— Не берется хризолит...

— Эх, ты чорт омелинский! Ничего не можешь. А ну, зови Баталова.

Позвал я Баталова, мастера.

Дмитрий ему говорит:

— Прокопий, сделай этот хризолит бриллиантовой гранью, восьмериком.

Баталов взял камушек. Пошел к станку. Через полчаса приходит. Бросает на стол камень и сердито говорит:

— Точи сам. Не берет.

Митюшка молча взглянул на Баталова. Молча взял камень и сам сел за станочек. Уж он его и так точил и так — ничего не выходит. Не берется камень. Весь круг испортил, а камень какой был, такой и есть. Не гранится. Хотя все равно и без граней блестит, чистотой сияет...

Дмитрий понес этот камень в город. Понес к Денисову-Уральскому. Жил такой художник в Екатеринбурге, большой специалист по камням. Денисов определил, что этот камень не хризолит, а алмаз. Бриллиант, большую ценность имеет.

Дмитрий продал этот алмаз сырьем, без огранки. Купил его крупный специалист камнями Неруш. Сколько он заплатил Митюшке, это нам неизвестно. Но, должно быть, немалые деньги взял Митюшка, потому, вскорости начал строить себе по соседству новый дом, тоже на Арсеньевской улице. В этом доме в мастерской нас уже работало двенадцать человек. Да на стороне на Дмитрия работало человек пятьдесят. В это время Дмитрий уже славился в Екатеринбурге как самый наилучший покупатель. Все уже шло к нему, уважая его за ласку, приветливость и за деньги.

Любили его и мы, которые работали у него. Хотя он и разбогател и уже стал прозываться не Митюшка или Дмитрий, а Дмитрий Михайлович, все же он с нами был всегда просто, как с родными. За одним столом кушал с нами, шутил и не откалывался от нас.

В этот год кончился мой контракт с ним. 20 марта 1896 года кончился мой срок, а мне жаль было уходить от Митюшки. Проработал я еще несколько дней на него. 24 марта он мне, наконец, говорит:

— Срок твой, чорт омелинский, кончился. Вели отцу зайти за тобой.

Уведомил я отца. А отец говорит:

— А куда же ты пойдешь? Дома-то и без тебя едоков

много... У него-то ты жил—все же хоть когда рублишко мне давал... Поработай на него еще... Может, еще подможешь отцу.

И решили мы с отцом, что не уйду я от Баричева.

26 марта пришел отец. А Баричев приготовил закуску, выпивку. И как увидел отца, кричит своей матери:

— Мамка, тачи Панькино добро!

Узел добра принесла мать Баричева: одеяло, подушку, костюм новый, шляпу, пальто, полное приданое. И еще восемьдесят рублей деньгами.

И так я хорошо запомнил свою при том радость, что могу сейчас все сказать вам: и какого цвета одеяло было, шляпа какая была... Одеяло было серое, добротное... Шляпа черная, лента на ней шелковая, черного шелку...

Отец ему заявляет:

— Спасибо вам, Дмитрий Михайлович, что довели сына до толку. Только он уходить от вас не хочет. Он еще хочет у вас поработать.

Баричев смеется.

— Хорошо,—говорит,—тогда сходим в управу. Выправлю ему свидетельство подмастерья.

В 1897 году Баричев женился.

И тут началось такое, чего мы никак не ожидали. За женой он взял много тысяч приданого. Посуду серебряную ящиками мы в дом таскали. И как жена его въехала к нам, Баричев отделил мастеров от своего хозяйства.

Теперь он уже не садился с нами за один стол. Его жилое помещение стало недостижимым для мастеров. И стал он нам не простой хозяин, а господин.

Однако мы думали, что это жена его предъявляет к нему требования—отделить рабочих от семейного очага. Мы на него тогда не обижались. Мы не верили, чтобы Митюшка Баричев мог оказаться подлецом.

Вскоро мне исполнилось совершеннолетие. Меня угнали на военную службу. Я проходил ее в Москве. Три года не видел я Баричева, хоть вспоминал часто. Когда кончилась служба, я из Москвы написал ему письмо, что хочу снова работать у него, да денег нет на проезд. Он выслал мне тридцать рублей и письмо, что, мол, ожидает моего приезда.

Когда я приехал, я его еле признал. Раньше он был худощавый, быстрый, а теперь стал не то что очень полный, но в теле. Сам он весь розовый, и щеки красные, как

яблоко, ходил медленно и слова говорил с растяжением. И прежде чем сказать какое слово, все говорит:

— Мня... мня...

Он определил меня в мастерскую. В мастерской у него работы было много и разная. Все лучшие камни попадали теперь к нему. Кроме того, он ездил за границу, привозил камни оттуда.

В это время мастера относились к нему уже иначе, чем раньше. Уже мало соблюдали его выгоду, а каждый думал про себе. Шмуковали у него камни, как хотели.

Он с мастерами вел себя не гордо, но как чужой. Только ко мне он подходил попроще, потому что помнил мою ему работу. Однако и со мной он все же был не как прежде. Уже чувствовалось, что он человек не нашего класса, что он—барин.

В этот раз я проработал у него не долго и поссорился с ним уж не помню из-за чего. Кажись, я поспорил с ним из-за одного мастера. Или из-за харчей... Или из-за работы... Не помню. Не так-то хорошо кормили нас, и за то жалование, которое он платил вровень с другими хозяевами, он заставлял мастеров работать больше, чем другие. У других мастера должны были сделать за день двадцать пять—тридцать искорок, а Баричев заставлял нас делать восемьдесят.

Ушел я работать к Кузнецову. Кузнецов вскорости стал уважать меня, потому что подслушал, как мне однажды предложили шмукануть у него, а я отказался.

Мастерская Кузнецова работала на Баричева и Кузнецов зависел от него. И вот однажды Баричев зашел в мастерскую. Увидел меня. И при всех говорит Кузнецову, рукой показывая на меня:

— Ты что держишь, мня... мня... этого мерзавца? Его ...мня... мня... гнать надо!

Обидно мне стало. «Из-за чего,—думаю,—он на меня зло имеет?»

Кузнецов мной дорожил и не прогнал меня. Баричев еще раза два-три заходил и каждый раз говорил:

— А этот мерзавец все еще... мня... мня... у тебя работает? Чего ты не гонишь его?

На пасху я с товарищами пришел поздравить Кузнецова. Поздравили. Угостил нас Кузнецов. Вышли. Стоим возле дома, разговариваем. Миню едет экипаж. Баричев с женой и ребеночком. Увидел нас и что-то говорит кучеру. Лошадь

пошла шагом. А Баричев поманил меня пальцем и говорит:

— Зайди, Титов, ко мне. Надо тебя.

Я стою и думаю: «На что я ему нужен? Уж не клевета ли какая на меня возведена?»

Пошел я в недоумении к нему и не знаю—что-то будет.

К этой поре по лицу Баричева никак нельзя было узнать, что он думает. Лицо у него теперь всегда было ровное. Не побледнеет никогда, а покраснеет... и так он красный был. И всем в эту пору он высказывал свое превосходство. На всех смотрел с насмешкой.

Был такой в эту пору с ним случай. Вояжер Лепидовский взял у него для продажи камней на пять тысяч. Без расписки взял, без свидетелей. Уехал продавать, а когда вернулся, денег Баричеву не отдал. Да и не мог отдать: прожил, пропил баричевские деньги. Ну и, конечно, стал избегать попадаться Баричеву на глаза. И вот однажды Баричев все-таки встретил его на улице. Лепидовский хотел в ворота зайти, да некуда. Идет прямо навстречу. Вид у него небогатый. Пальтишко старое, глаза припухли. А Баричев возле него остановился и молча смотрит на него. А потом говорит:

— Ну, что, мня... мня... разбогател?.. Богато живешь, по лицу видно...—и пошел дальше.

Вот с каким презрением относился в ту пору Баричев к людям.

Не хотелось мне идти к нему. Но все же, раз зовет, пошел.

Захожу в дом. Кругом богатство. Ковры, занавесочки разные, цветы, бронза. Все неприступное. Неловко мне как-то. На сердце нехорошо.

Он завел меня в кабинет и говорит:

— Мне надо месяца на три на Кавказ ехать. Знаю, что ты честный. Хочу тебя доверенным оставить... Помнишь, Пания, как ты хозяйничал у меня на Луговой?

Знал Баричев, за какое место ухватить сердце человека. Вся моя растерянность сразу пропала. И злоба на него пропала. Словно вижу я его таким, каким он был на Луговой или каким был в старом доме на Арсеньевской, когда подарками меня засыпал: и одеяло, и шляпа... все вспомнилось.

Согласился я.

— Только,—говорю,—я Кузнецову должен... Как же я уйду от него?

— Сколько?—спрашивает Баричев и уж в карман лезет.

— Двадцать пять рублей,—отвечаю.

А он улыбается ласково и дает мне четвертную.

Уехал он с семейством, а я остался как бы вроде хозяина.

Много у него на складе было породы. И топазы, и турмалины дорогие, и изумруды, и разные камни. Если бы взять со склада пуд или два породы—и незаметно бы. Тысяч десять—пятнадцать без всякого можно было шмукануть.

Мне мастера предлагали крупный шмук сделать, и деньги, мол, сейчас же найдут... А я кристалла одного не взял и честно работал на Баричева, как работал на него на Луговой.

— Неужели не отколется ничего?—спрашивали меня мастера.

— Нет,—говорю,—не отколется.

Жилось бы в это время мне ничего, да ссорился я с тестем Баричева. Тесть стоял надо мной, как стражник или надсмотрщик. Тесть был форменный буржуй, и ему мое поведение не нравилось.

Приехал Баричев. А тесть наговорил ему, что я де пьяница и подобное. Баричев выговор мне сделал и, когда деньги платил за эти три месяца моей честной работы—девятисто рублей,—сказал:

— Только ты не говори тестю, что я тебе заплатил... Он против этого...

Баричев сказал так для того, чтобы я поверил, будто он и тесть не из одной породы сделаны... Всю свою душонку барскую показал он этими словами.

И вот в это время я уж точно понял, что неподходящий нам человек Дмитрий Михайлович Баричев... Барин он, а не человек.

Больше на него не работал. И дел с ним никаких не имел. Только жаль мне было, что Митюшка Баричев подлецом оказался.

Умер он в те годы, когда гражданская война была. Отступал с белыми и от поранения пальца получил заражение крови. Не спасли его несметные богатства.

Да, просто говоря, другого и выхода ему не было, кроме смерти.

Он сам еще на болоте определил свою судьбу и печальный свой конец.

И не его мне жаль, а молодость свою жаль, которую я отдал ему. Детские годы свои жаль...

6. «МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ»

Профессия гранильщика раньше была очень опасной. Если человек имел слабый характер и получал пристрастие к деньгам, то погибал. Ни за что, ни про что.

Жил тут один гранильщик Степка Решетников. Нрава он был веселого, беззаботного. Наружность тоже была подходящая под этот случай: весь черный, как цыган. И глаза такие, знаете, цыганские. Его так и прозвали «Степка-Цыган». Мастерством большим среди прочих он не выделялся, а вот пристрастие к деньгам имел очень большое. И по этому своему устройству стремился он купить какой-нибудь редкий кристалл. Долго ему не подвезило. Купит камушек в надежде деньгу зашибить, а камушек окажется безделкой. Наживет Степка пять или десять рублей на покупке—вот и вся радость.

Но однажды ему, действительно, подвезло. Был тут такой торговец кожами Ульянов. Он и камушки покупал у хищников. А по совести сказать, толку в кристаллах никакого не имел. И вот однажды этот Ульянов подносит Степке-Цыгану кристалл изумруда и просит за него двести рублей. Посмотрел Степка. Изумруд хоть и не очень крепкой густоты, но подходящий. Чуть светловатый камень, зелень такая травянистая, зато размер большой, каратов пятьдесят. Понял Степка, что этот камень надо бы оценить в несколько тысяч, и не стал торговаться. Купил этот кристалл. Как говорится, все свое имущество подверг реализации для ради того, чтобы двести рублей собрать.

Ну, хорошо. Купил. А сам гранить постеснялся. Он знал, что крупный кристалл требует большого мастерства для огранки. Отнес он тот камень Егору Степанову. Тот был гранильщик как полагается. Егор огранил изумруд как нашел нужным, и изумруд получился, действительно, тысячный.

Степка с камушком обошел всех скупщиков Екатеринбург. Никто больше восьмисот рублей не дает.

Тогда Степка запил камушек в борт пиджачка и поехал

в Москву. Там он быстро спроворил его за шесть тысяч пятьсот рублей.

И вот вернулся он в Екатеринбург. Перво-наперво нашел он Ульянова и доплатил ему еще двести рублей. И сказал ему:

— Теперь неси всю свою добычу не к Баричеву, не к Липину, а ко мне... Я теперь покупаю все...

Так объявился в Екатеринбурге новый богач Степан Петрович Решетников. Купил он домик за две тысячи пятьсот рублей и давай жить, как полагается богачу.

Тут в городе был когда-то Харитоновский сад. В том саду были певички, шансонетки, хористки. Выпить, закусить в том саду можно было и с девицами время вольготно можно было провести.

Повадился ходить туда и наш новый богач Степан Петрович Решетников. Он был не то что пьяница, но выпить любил и любил пожить в свое удовольствие. Однако неправду говорят, что он и день и ночь в том саду проводил. Врут. Он и пил, и кушал, и делом занимался. Конечно, на огранку он уже не садился. Он стал просто спекулировать камнями. Купить-продать вся была его теперь забота.

Только это ненадежное дело покупка-продажа. Тут мало иметь стремления, тут нужен особый подход к делу. Недавно говорилось в старое время: не обманешь—не продашь.

Наш новый богач Степан Петрович этого не умел. Он был парень простодушный, сердечный и без злой хитрости. И на всех своих покупках и продажах он каждый раз, бывало, как говорится, докладывал своего. Где рублик, где десятку. И все утешения себе искал в том, что снова попадетсЯ ему новое счастье в лице изумруда каратов на пятьдесят. Этого счастья он не дожил.

Он все старался не обидеть тех, у кого покупал. Года два держался он в чине Степана Петровича—домовладельца и купца. А через два года все свое достояние прожил, и домика не стало, и кушечества не стало. Не стало и Степана Петровича. Опять обозначился в Екатеринбурге Степка-Цыган. Только он от работы отбился. Опустившийся человек стал. И уехал в деревню поближе к хитникам.

Слышно было, что помер он в больнице. И труп его на скелет пошел, потому что родных у него не оказалось ни

души. Может, и теперь студенты медицинского вуза изучают человека по скелету Степки-Цыгана. И не знают того, что не человека они изучают по его скелету, а мыльный пузырь.

Таких-то вот «мыльных пузырей» заводилось на поверхности Екатеринбурга в старое время очень много. Лопались-то через год, через два, а кто и через неделю.

Особенно занятные «пузыри» были те, капиталы которых считались не тысячами, а сотнями рублей.

Подвезет такому купить камушек за пять рублей или за десятку, а продать за двести—триста рублей,—и божье мое, сколько задаст он форсу!

Раньше гранильщики любили в картишки поиграть. Соберется компания, и играют. Ставки, конечно, копеечные: по пятачку, по гривеннику. И вдруг среди такой компании объявляется «пузырь». С форсом зайдет он в избу. Поставит один раз двадцать копеек. Другой раз сорок. Проиграет мелочишку, а потом выкинет из кармана екатеринку—сотенную—и фасонит:

— Дайте сдачу.

Конечно, сдачи ему никто не может дать, но уважение к нему чувствуют. А он шире и шире дует, словно и вправду богат. Выпивка, закуска, ресторан...

Пройдет два-три дня, а глядишь, у вчерашнего «пузыря» уж и на хлеб нету. И курить стреляет:

— Дай, пожалуйста, махорочки...

И смешно и невесело было смотреть на таких.

Конечно, те гранильщики, которые ремесло свое ценили выше денег, те не пузырились и за покупателями не гнались.

И правильно поступали.

А то вот, например, жил-был один гранильщик. Неплохой мастер. Впрочем, он и сейчас еще живой. Фамилию вам я его не назову, чтоб не конфузить человека. Ну, и что же с ним случилось? Он купил камушек за сто рублей, а продал его за тридцать четыре тысячи. Купил дом, мастерскую завел, в коммерцию ударился. Ради денег жил. А скупости был такой, что я не видел еще таких людей. Верно, что над копейкой дрожал. Воду, и ту аршинном мерил, когда водовоз ему бочку наливал. И если водовоз не дольет вершок или полвершка, этот гражданин не доплатит ему. Вычтет. И денег он очень много насобирал. Ну, конечно, от ремесла оторвался. А пришла

революция—раскулачили его. Теперь он совсем бедно живет. И он оказался «мыльным пузырем».

И все, кто от своего мастерства ради денег отказались и капитал собирали,—все они теперь, после революции, «мыльными пузырями» сделались...

Опасная была профессия гранильщика.

РАССКАЗЫ ГРАВЕРОВ

1. СОРЕВНОВАНИЕ

Были и у нас большие мастера. Которые резали, а которые лепили—для Кусинского завода модели лепили. И вот, одинаво, поспорили один лепщик и один резчик: за час без всякого портрета бюст Льва Николаича Толстого сделать. Ну, весь цех ждет—чья, например, осилит?

Вот час прошел—лепщик идет, улыбается, довольный. На пальчиках бюст несет. Борода длинная, скуластый, глаза с хитринкой—настоящий Толстой! Лучшие и не сделать.

А резчик поглядел, усмехнулся и тиски разворачивает—в тисках-то чурочка зажатая была. Ставит эту чурочку на верстак, а из чурочки вышел вылептый Лев Николаич—суровый, брови мохнатые насулены, глаза строго глядят. И оба бюста—Толстого, и оба—разные.

Такие у нас были специалисты по художественному делу.

2. ОРЕЛ

А то вот тоже какое дело было. При Евглевском еще, при управителе,—он перед Гертумом был. Гертум у него в помощниках тогда ходил. Евглевский из кантонистов был, выслуженный, выправка военная, но в искусстве нашем ни черта не понимал. Он совсем неученый был и тупой какой-то.

Нам тогда дали задание—для Парижской выставки международной орла сделать—герб, значит, российский. Туда целую беседку делали с колоннами—в Кусе да в Каслях отливали, а к беседке лестница вела—спираль из железа сплошного метров в шестьдесят. Сверху—орел. Орла этого нам велели собрать из наших изделий: ножи разные, вилки, ложки, клинки, рукоятки, много всего.

Три тысячи шестьсот предметов. Я одного в толк не возьму: зачем такой орел нужен был? Снизу-то все равно не видеть, из чего он сделан. По-моему, тоже для форсу—вроде золотой пашки,—вот, мол, из каких вещей и чего собрали. Мы, мол, блоху подкуем,—а лошадь не сумеем, между прочим.

На орле мы решили подзаработать—и подогнали его до срока. Только я смотрю, герб-то вроде немецкий. И крылья длинные, и все не то—немецкий орел.

Ну, молчу. А ребятам говорю: «Давайте про запас другие крылья соберем. В случае чего—в два счета сменим и за спешность опять монету получим».

Вот приехала комиссия—орла принимать. Главный начальник Баклевский и свита вся с ним, ходят, смотрят. Поглядел Баклевский, говорит: «Все хорошо!» И свита с ним: «Все хорошо—орел, двуглавый, крылатый...»

Тогда я говорю: «Тут, извините, плохого самая малость. Герб у нас немецкий получается: крылышки не те».

Ну, они все растерялись—как так? Как же мы не заметили? Все в орленых пуговицах ходят, через этого орла кормятся, а какой он, не знают.

3. СМЕРТЬ ЯКОВЛЕВА

У меня был, выходит что, товарищ—Яковлев Митя, Дмитрий Егорыч. Был он человек очень тихий и душевный. Но выпивал здорово, выходит что. Он с моим братом со старшим вместе в Строгановском учился, и рисовал он замечательно. Но его оттуда выгнали—он там в Москве жить научился, выходит что.

А когда он сюда приехал, то в заводе не работал, а все по частным мастерским, больше у Бахарева, у Василия Матвеича—у того большая мастерская была на Косотурке. Василий Матвеич прижимал, выходит что, сильно. В субботу у них получка—так он им, всем граверам, выдает ножи разрезные и говорит: «Денег у меня нету—идите и продавайте ножи». Ну, ходят по улицам, продают за полцены, выходит что.

А в понедельник придут мастера с похмелья—он им, Василий Матвеич, выходит что, квасок подносит; купит ведро за сорок копеек, а продает по гривеннику бутылка. И никогда не позволял больше покупать.

Яковлев мастер большой был. Он не только гравер был

лю всем видам—и штихелем, и иглой, и кистью (кистью он больше всего работал), а и сам, выходит что, рисунки делал. У него вкус был большой: сделает виньетку в стиле ренессанса, а сбоку введет рысь или оленя—неожиданно совсем. Он Бахаревской мастерской золотую медаль заработал. Но он всегда тосковал—хотел такую гравюру сделать, чтобы было все как живое, и Урал чтобы весь был,—природу показать, выходит что. Он столько рисунков сделал в альбомах, что удивительно. И еще работал над картиной—богородицу писал. Все хотел живую сделать, как человек, лицо чтобы было человеческое, а не икона, выходит что.

Но только жизнь у него получилась очень неудачная. Ходу ему не было, и он все узорчики только делал. На ножках, на вилках. И пил, выходит что, от этого больше.

К нему приедешь на Богданку—оттуда весь город видно, и завод, и Косотуру,—он сядет и заиграет на гитаре. А сам поет свою любимую, выходит что:

С небес довольно кисло
Глядит луна,
На шею мне повисла
Давно она.

А с горы, с Богданки-то, вид—залибуешься. Митя играть перестанет,—смотрит и помолодеет весь, выходит что. Так он красоту любил природную.

Из него бы большой мастер был, но кончил он плохо.

Он после революции в завод перешел. Радовался все—вот, мол, работать буду по-настоящему, вот, сделаю гравюры.

Он вот здесь сидел в цехе—на Михаил Ивановича табуретке, товарища Калинина. Эта табуретка так называлась, выходит что. Это вот почему получилось. Приехал к нам в завод Михаил Иванович, я его возжу по цеху, выходит что, показываю все. С ним еще гости. Я им показываю гравюры—только, хватъ, а Михаил Ивановича и нет. Пропал. Я в гравюру. Товарищ Калинин, спрашиваю, был? А Митя отвечает: «Какой Калинин? Был тут старичок в очках, посидел, меня поспрашивал, как гравюры делают. И ушел. А Калинина не было».

Ну, а как узнал, что это и есть Калинин, он эту табуретку, на которой Михаил Иванович сидел, себе взял. И никому не отдавал.

Так вот о деле, выходит что. Был у нас один мастер. Тоже строгановец—только таланта у него не было. Я его по фамилии не назову, а назовем его, скажем, Петров. У этого Петрова папаша, выходит что, был в «Союзе Михаила архангела» за главного. А сам Петров, как потом узнали, у Колчака золотые погоны носил, выходит что.

Вот они с Яковлевым и заелись. Петров начальником отделения был. А у Мити талант—он все и старался, чтоб Митю осрамить. Потому что у того все мастера учились, а Петрова в грош не ставили, выходит что. Он его стал браковать: рисунок первой категории, а он пишет—брак. Мите обидно было. Но Петров с ним после работы дружен был—выпивал, выходит что, и альбомы все с рисунками выпросил. Пропали альбомы-то.

А потом—выгнал. Будто бы за пьянство, выходит что. У него и с начальством дружба была. Ну, Митя смирный человек, мухи не тронет, ничего не сказал. Только сразу вроде опустился, выходит что. И в недалеком времени умер. Он каустиковой соды выпил, говорят, по ошибке. Вместо водки. А может, и не по ошибке, выходит что.

А потом вскоре Меркулов Ваня удавился. Тоже очень хороший мастер, талант—чем хочешь работать мог. А жить ему было тяжело, выходит что, —семья большая была, сам двенадцатый. Вот он сделал одно раз предложение, а Петров его себе, выходит что, присвоил и премию получил. Тогда Иван Гаврилыч и удавился,—вот уж тут и судили Петрова. Да только Митю с Иван Гаврилычем не воротишь, выходит что.

А сейчас я начальником отделения, выходит что. И работать теперь вполне даже можно. Только мне это не нравится—начальником быть. Я все хочу гравировать. Годы не молодые уже—помру если, так хоть настоящие рисунки останутся. Только, выходит что, а помирать не тороплюсь. Мне еще надо молодых обучить—у нас еще, выходит что, многого не знают. Венецианскую насечку, например. Я один только по насечке могу работать. Это работа тонкая, очень тонкая, и у нас ее, выходит что, напрасно забыли.

Так что я еще поживу, и у нас Яковлевы другие будут, выходит что. Вот из Боева, из Боронникова Александра Иваныча большие мастера могут быть. И, выходит что, будут.

РАССКАЗЫ ЛИТЕЙЩИКОВ

1. ЦЕПОЧКА

В давнишнее-то время подходит один раз к брату старшему Алексею управитель Кыштымских заводов Карпинский и говорит:

— Вот, гости со мной приехали... Интересуются работой... Желательно им иметь цепочку из чугуна к часам.. Можешь отлить?

А брат говорит:

— Какая цепочка... Модель покажите...

Карпинский свой скруток распахнул. Показывает цепочку серебряную. Она через грудь у него идет.

— Такую можешь?

А сам смотрит на брата. И на гостей смотрит. Посмеивается. Видно, хотел унизить перед гостями рабочего человека.

А брат старшой глянул на цепочку и говорит:

— Погуляйте по цеху... Апосля скажу, погуляйте...

Они пошли гулять, а брат стал формовать. Пока они гуляли, брат отлил два звёнышка. И молчит.

Подходят они. Карпинский опять спрашивает:

— Ну, надумал? Можешь или нет?

Брат отвечает:

— Могу... Погуляйте. Сделаю.

Покачали гости головами. Пересмеиваются. Пошли.

А брат стал отливать. Сначала, конечно, кожух набил. Потом колпак набил. Отлить не трудно. Только долго. Тут сила в формовке. Звёнышки тонёхонькие, как проволочка. На каждом звёнышке, окромя прочего, пучик, пупырышек... Пипочка маленькая. Это чтобы видно было, что цепочка из чугуна отлита. Конечно, чугуна на каждое звёнышко идет самую малость. Капли одной много. И опять же каждое звёнышко надо отливать в отдельную. И опять же вместе с теми, которые раньше отлиты. Нарачивать надо цепочку. Шибко мелкая работа.

Тридцать пять звёнышек отлил брат. Над барашком у него случилась задержка. Барашек—это на котором цепочка привешивается. Отлил его брат. Попробовал. Барашек должен бы крутиться на шпинечке, а этот не крутится,—приварился, значит. Другие формовщики говорят:

— Так отдай... Слесарь доделает.

А брат отвечает:

— Там, где литейщик робит, там слесарю делать нечего. Литейщик сам должен до дела довести...

И разбил отлитый барашек и другой отлил. Этот крутился.

Вот подходит Карпинский с гостями. Спрашивает:

— Ну, мастер, как действие твое?

— А так,—отвечает брат и на ладошке подносит им цепочку. Гости глянули и руками всхлопали. Ну, и работа!.. И от удивления даже пять рублей брату дали. Золотой.

А потом ушли из цеху. И какое же последствие вышло от этого для брата старшего? А никакого. Что раньше робил, то и вперед стал робить.

Этот случай с цепочкой в прошлом годе у нас вспомнили. Брата-то старшего уже не было. Помер он. Жалели у нас начальство, что такой мастер помер. И говорят другому моему брату, Афанасию:

— Сказывают, твой брат цепочку из чугуна отлил когда-то. Воскреси старое мастерство... Только сможешь ли?

А брат отвечает:

— От человеческих рук да от умения ничто не уйдет. Рабочий человек вот какие машины робит: комбайны, тракторы... Ужли цепочку махонькую не сможет отлить?

Брат Афанасий правильно высказал. Нужно только тщательно робить. У кого если рука трясется, тот, конечно, не отольет. Это плохо, когда рука трясется. Точную надо роботу.

Заказали брату цепочку. Брат Афанасий отлил. Не одну. Цепочек десять отлил. Он каждое звёнышко фигурное делал. А чтобы звёнышко к звёнышку не приваривалось, он, которые раньше отлил, маслом смажет, песочком присыпет и уж тогда приливает к цепочке новое звёнышко. Каждое звёнышко не приваривается к другому, а свободное на нем вращение имеет. Только робить долго приходится. К горну за чугуном самому надо итти каждый раз. Потому не поднесут же к тебе в ковше полкапли чугуна. А больше и не надо для одного звёнышка—как раз полкапли чугуна. Конечно, по затрате рабочего времени это работа долгая. Золотая-то цепочка дешевле в покупке, чем чугунная.

Хорошие цепочки вышли у брата. Вот так воскресил брат Афанасий старое мастерство.

А на ваш шутейный вопрос про блоху я отвечу окромя всяких шуток. Вы возьмите наше теперешнее положение. Вот в этом году мне дом отремонтировали за счет завода. Крышу новую поставили. Брату-то покойнику, который цепку отлил Карпинскому, не сделали бы того, кабы он даже всех бар цепочками одел. Опять же, сено мне привезли. И еще по хозяйству сделали разное. И завтрак бесплатно горячий в цеху дают. Как же тут не робить, когда выходит, что для себя роблю?

Или еще такой факт. У нас тут раньше было место, которое прозывалось Коробковщиной. А называлось оно так потому, что когда народоселение в этих местах только-только починалось, рабочих людей привезли сюда на пустое место в коробах. Из коробов свалили, ну и живите. Принудительно жить заставляли. Насильем.

А теперь к нам люди из разных мест едут по доброй воле по своей. По своей воле желают робить у нас.

И еще один факт. Раньше формовщик сам все робил: он и мусор прибирал, он и песок сеял, он и размельчал его. А теперь все тебе поднесут, уважение кругом. Директор за руку здоровается... Знай только роби...

Раньше, при царе, в час ночи придешь в цех, а уйдешь вечером. А теперь мы робим шесть часов.

Раньше-то нас прозывали либо кусочниками, либо кабинетчиками, а теперь называют: художники!

И вот вы шутейно спросили: «А можешь ли ты, мастер, отлить подкову для блохи?» А я отвечу так: «Забыл я теперь, какие есть блохи... Перевелись они у нас. В чистоте живем. Но ежели модельку подковы для блохи представите—отолью...»

2. СПОР

В конце прошлого года Каслинский завод послал людей в Москву выбрать художественное литье для Парижской выставки.

Послали четверых: скульптора Николая Николаевича Горского и трех мастеров-старичков—меня, Михаила Васильевича Торокина и Дмитрия Ильича Широкова.

Приехали мы в Москву, а там устроили нам совещание со скульпторами. По правде сказать, не совещание было, а бой. Скульпторы нас спрашивали:

— Как вы отливать будете наши модели?

А мы отвечаем:

— Очень просто. Набьем, отольем и прочеканим, как полагается.

Скульпторы говорят:

— Этого нельзя, чтобы вы чеканили наши модели. Вы исказите наши лепки. Такого начеканите, что потом и не разберешь...

Тут мы стали им доказывать, что их точка зрения никуда не годится. Нельзя выпускать вещи без чеканки. Художник может недоглядеть что-то там или недоработать. Ну, а мы подправим в модельке. Мелкие, конечно, черточки, волосок какой, скажем...

Скульпторы с нашим мнением не соглашаются.

— Не подправите, а исказите вы, — это говорят так скульпторы.

А мы на своем стоим. Я говорю:

— Мы—практики-натуристы. Мы берем с натуры, а не из головы. Значит, природу мы не искажаем. Вот, например, лошадь. Одно дело—лошадь породистая, выездная, скаковая или беговая. Другое дело лошадь простая, рабочая, крестьянская. Это дело скульптора—выразить ту или другую свою мысль. Но отделка, мелочи—это дело чеканщика. Если лошадь,—говорю,—породистая, беговая, то ее чистят, приглаживают. Шерсть у нее гладкая,—волос к волосу правильно лежит. Но даже у такой лошади в паху, например, шерсть не такая, как на спине. В паху шерсть вихорками. Или щетка возле копыт. Волос на щетке жесткий, длинный. Надо сделать его. Это—дело чеканщика. А у лошади ломовой, рабочей, крестьянской шерсть негладко лежит, а у которой лохматится, у которой прядками. Вот мы чеканом модель лошади крестьянской. Тогда мы выходим из мастерской, остановим коновозчика. Рассмотрим, как, какими прядками лежит шерсть у лошади, и уж только тогда идем чеканить модель.

— Если,—говорю,—мы не будем чеканить, будут выходить недоразумения. Обязательно. Вот, например, есть у нас литье: дикий сибирский кабан. Ну, допустим, мы не будем его чеканить. Пусть он выйдет гладкий, без щетины. Так ведь это,—говорю,—получится не сибирский кабан, а голландская свинья. И вся работа скульптора пропадет. Мысль будет искажена.

Или, например, модель собак. Попробуйте не чеканить

модель сеттера, — выйдет ни сеттер, ни пойтер, ни борзая, ни гончая, а просто дворняжка. Или медведь. Шерсть-то показать надо? Гладким его не сделаешь!..

Потом я привел в пример Парижскую выставку в старое время. На той выставке были наши изделия. Тогда всемирная была выставка. На выставке были скульпторы всех стран. И немцы, и французы, и русские, и голландцы, и все нации, какие только есть. И что же? Скульпторы на выставке признали нашу чеканку дополнением к своему творчеству.

Кроме этих соображений высказал я на совещании мысль, что греческая скульптура справедливо считается лучшей скульптурой в мире. А взгляните, мол, как греческие мастера отделывали свою работу? Разве нет там чеканки?

Однако, сколько я ни говорил, вижу, что часть скульпторов все же против чеканки. Они не верят нам. И здесь, как говорится, заело меня. Рассердился я.

Вспомнил всю свою жизнь. Много томов романа можно бы написать про мою биографию. С детства имел я стремление к изобразительному искусству. А осуществить это стремление не мог. При капиталистическом порядке рабочему хода не давали. Ну, я жил так, что... лучше не помнить. Все работы прошел. Шахтером был, проходчиком, колчедан в шахтах добывал. Грузчиком был. На Волге тяжести на спине таскал. Каменщиком был... Ну, и пил сильно. Последнюю одежонку, бывало, пропивал. В зиму лютую по снегу, бывало, босый да в портках одних ходил. Пьяным-пьяно. Если кто в Каслях напьется, говорили:

— Вот Мишка Глухов новый объявился...

Жена моя первая с ума сошла. Я музыкантом тогда был. Говорю: все работы прошел!..

Работаю, бывало, чеканщиком вот здесь, в Каслинском заводе, на художественном литье, увижу несправедливость какую-нибудь, ну, и пошел с завода. На Волгу или в шахту. По лесу, бывало, пьяный странствую. Искать иду жизнь хорошую.

Закат. Сквозь деревья солнце. Окраска-то, окраска-то какая!.. Вот, думаю, нарисовать бы! Да не умею. Уж до чего же любил я все прекрасное, чудесное! Пьяный, бывало, домой явлюсь, а сам дочку свою на руки к себе зову. Посажу на коленки да сказки ей рассказываю. Хотя пьяный я, а она меня не боится. Сказки мои любила...

Много знал я их, странствуя по свету. Но сколько ни странствовал, а все в завод тянет.

Вот вспомнил я на совещании всю эту мою жизнь, и обидно мне стало. Как же, думаю, так? Ведь только при Советской власти я от пьянства отучился. Живописью стал заниматься. Наша власть, рабочая власть. Как же, думаю, возможно, чтобы при нашей власти наше мастерство чеканки умерло вместе с нами? Четверо, пятеро старичков нас на заводе осталось. Кадры надо подготовить из молодежи. Пусть они продолжают наше искусство. Пусть смолоду таланты развиваются, а не к старости.

И вот я так и сказал скульпторам:

— Не позволим мы, чтобы вы подготовку кадров на заводе у нас срывали... До ЦК партии дойдем, а не позволим...

В конце концов все же мы кой-чего достигли. Согласились на совещании так: Москва и Ленинград дадут на выставку по два экспоната, один экспонат пойдет с чеканкой, другой—без чеканки. На этом мы согласились.

Погуляли мы после того по Москве несколько дней. Видел я картинные галереи, музей видел. В мавзолее был. Ленина видел. Хотя глаза мне заволгло, а все-таки хорошо я видел его. И радостно было мне, что я вижу его, и жаль, что не живой он...

Ну, а потом приехали домой, в Касли. Может быть, в первый раз в жизни я вот так-то на завод возвращался—с почетом, а не с позором пьяным.

Вскоре прислали нам модели. Москвичи послали модель скульптора Андреева «Пишущий Ленин». Скульптор не успел довести работу до конца. Только в пластелине сделал. Недоработал и помер. Ясно, что при чеканке моделей мы сохраняли каждую черточку скульптора, даже если она замыслу противоречила. Нельзя иначе: последняя работа мастера. Надо сохранить потомству ее в натуральном виде.

Ну, а из Ленинграда скульптор Манезир прислал скульптуру «Тяжелая атлетика».

Тут мне пришлось поработать. Например: на голове атлета Манезир наметил какие-то квадраты. Да разве волосы квадратные бывают? Пришлось их пробрать, расчесать. Или пальцы руки, которая штангу тяжелую поднимает. В плече, предплечье, в запястье напряжение мускулов дал скульптор. А пальцы... Они на слабе держат

штангу. Да разве так бывает? Мизинец из-за этой позы пальцев у скульптора вышел длиннее среднего пальца. Ногтей нету,—култышка, а не рука. Пришлось при чеканке дорабатывать. Я дал в пальцах напряжение, как полагается,—чтобы и по пальцам было видно, что тяжесть человек поднимает, а не так просто руку кверху задрал.

Отлили мы эту статуетку. Повез я ее в Ленинград.

А Манезир тут начал:

— Исказили!

Я и так ему, и этак доказываю. А он свое. Уж я перед ним палку взял, поднимаю ее, как штангу, говорю ему:

— Смотрите на мои пальцы...

Ничего не действует на него. Он все свое:

— Исказили! Протестую!

Написал он письмо директору завода.

Вернулся я в Касли. Неприятно мне все это. А директор прочел письмо и говорит:

— Как раньше чеканили, так будем чеканить и наперед.

И вот теперь мы работаем. Четыре, пять нас, стариков, на всем заводе осталось. Надо передать умение свое молодым.

Может, и не долго мне осталось жить,—седьмой десяток тяну. Смерть за плечами ношу. Скорей надо обучить молодых. И не потерплю, чтобы мешали Советской власти готовить кадры.

Советская власть—это она приучила меня бросить пьянство. Это она из меня сделала хорошего мастера.

И в заключение нашей беседы хочу я через вас громко сказать:

— Спасибо Сталину за все, что сделано для рабочего класса! Пусть он живет долгие, долгие годы!

РАССКАЗЫ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

1. КАК ПЕСНЯ МЕНЯ ЖИВОЙ СДЕЛАЛА

Как отряд ушел и нам, женам большевиков, оставаться то неловко, мы похватали ребятёшек и кой-чего доброе и ушли в лес—от белых скрываться. Я сестрина сыночка на руках несла. Махонький был. Мать его от тифа померла, ну, а он мне остался. Молочком его поила. Несу дитёшка,

а сама думаю: «И чем я его поить буду, в лесу-то? Некому и хлебушка принести, а то молока».

Отца-то моего в шахте под землей привалило—черного всего отрыли. Я тогда девчонкой была. А про мужа, как его убивали, рассказывать не буду. Горько помнить-то. А тут на тебе—сынишка четырнадцати лет к партизанам-то прильнулся. То ли погиб где своей смертью, то ли белые его убили. Так и ушел. Одна я. Только и жизни, что дитёночек.

А он и стал помирать. День за день помирает. Слабенькой-то—и не кричит, не плачет, а только губками шевелит. Кушать просит. Ему бы молочка малёнько. Губки синие стали. Ну, и отошел. Поддержала я его возле грудей,—не шевелится. И холодный. Я ямку стала рыть,—рою, а бабы—кричать: «Что же ты возле нас-то роешь? Мы-то живые!» А я думаю, что живой, что мертвый,—все одно. Ну, и закопала тут. А как закопала,—ну, прямо, каменная стала. Вот, как камень, хожу, лежу,—а самой ни по чём интересу нет. И скажи, хоть бы тебе слезиночка одна! Вот так и хожу.

Потом белые ушли. Бабы в село ворочаются. Мне-то все одно, и я иду с ними. Пришли в село. Говорят, наши беляков гонят, а мне интересу нет. В избу зашла. А хоть заходи, хоть нет,—надо ли?—и не рада, что домой пришла, не плачу, что одна-одинехонька в свете осталась.

Ну, а тут отряды наших партизан в село входят. Слышу: песню поют. Выйти из избы или нет? Все одно, встречать некого.

Бабы выходят. Вышла и я. Только тяжело себя нести, каменную-то. Вижу, идут партизаны. Черные, ободратые, грязные... Идут... Винтовочки у них. Идут рядками и песню поют:

За власть советов...

Ровно так идут и ногами голыми по земле топают. Опять слышу:

Смело мы в бой пойдем
За власть советов
И, как один, умрем
В борьбе за это.

Слушаю. И так это хорошо стало мне, ну, прямо, слова нет! Легкая стала я. А слезы-то сами по лицу бегут, моют

лицо мое... И стою я, а сама думаю: «Коленьку моего замучили... А сыночек-то мой где?» Сама слезами обмываюсь... И хорошо мне, радостно. Легкая я стала.

2. БОЛЬШАК

Вернулся я в Касли с империалистической войны, а белые жмут нас от Кыштыма. Семь дён пробыл я дома, в семье с сыновьями и с дочерьми, а на восьмой наряжают меня, как старого солдата, на заставу, в Букоянку. Старшой сын, большак, восемнадцати лет, у пимоката учился. Просится со мной, а я ему и говорю:

— Подучу сперва, а уже потом буду брать.

И пошел сам, без сына.

Стояли мы у речки Букоянки. День стояли—ничего. Два—ничего. И три—ничего. Думаю: «Зачем сына не взял? Подучить бы успел военному делу».

На четвертый день смотрю—идет скот от Кыштыма в нашу сторону, а сзади овечки. Вот ближе подходит скот. Видать уже стало, что не овечки сзади, а люди на четвереньках ползут.

Мы тогда давай бой открывать. Чехи оказались, а не овечки. Поубивали мы их немало, а многих в плен взяли.

Командир наш забрал в плен самого бандита—Зубрина. Привели пленных в штаб. Тут командир спрашивает Зубрина:

— Что, Федор Матвеевич, господин Зубрин, в затылочек хотел зайти? В карман наш залезти хотел?

А Федор Матвеевич Зубрин молчит. Командир еще раз его спрашивает:

— Так как же теперь будет, Федор Матвеевич?

А тот обратно молчит. Ну, тут один из наших не вытерпел, стрелил прямо в лоб Федору Матвеевичу. Упал Зубрин, а остальные наши и товарищ командир гневаться стали. Командир говорит:

— Он нам нужен был, а ты стрелил его. Никуда это не годится! Он факты рассказал бы, свои военные действия. Судить тебя будем!

А пленные чехи говорят:

— Мы без Зубрина все расскажем, знаем все сами.

Ну, тогда наши сказали:

— Собаке—смерть собачья. Нечего нам судить своего товарища ради первого бандита.

... Аккурат год прошел. Мы в этот раз шли на Екатеринбург. Белые тут начисто бегут, сдаются в плен. Подшли мы к поселку одному, не помню, как его звали. На насыпи вагоны белыми оставлены. И мы на насыпь. Это часов в пять утра было, а тут бегут под горой цепью на нас. Беляки или свои,—дать отпор приготовились. Я уже на «Люис» свой, на крючок, руку положил. Тарелка у меня в «Люисе» патронов полна—шестьдесят три патрона. Замок отворил. А те цепью бегут на виду и платки белые к ружьям привязали. Я—стрелять. Товарищи удержали. Это, говорят, от белых к нам перебегают.

Подбегают беляки и кричат:

— Не стреляйте! Сдаемся к вам.

Я и руку было от пулемета убрал, да в этот момент слышу:

— Тять, не стрелы! Это я, сын твой!

И вправду вижу, среди белых сын мой, большак, бежит. Тут я огневался. Что же это: я у красных, а сын мой у белых? «От меня,—думаю,—ты пошел жить, от меня и погибнешь». Руку на пулемет положил, замок открыл, но товарищи удержали.

Я тогда кричу:

— А ну, иди сюда!

Сын подходит.

— Не с подвохом ли,—спрашиваю,—к нам переходите?

Все беляки на коленки упали, а сын с коленок говорит:

— Не стрель, тять, с чистой душой пришли. Мобилизованы мы были. Если нас не тронете, много перебежит, более дивизии.

Тогда я руку снял с крючка, стрелять раздумал. Думаю, молодые еще, мол, ребята, жить хотят.

С той поры с сыном не расставался. Воевал он с нами в одних рядах. Отважно воевал... Только не долго. На Перекопах потерял я его—белые убили.

3. НА ТЫЕЛГИНСКИХ ПЕЧАХ

Было это на тропцу, на другой день как муж с отрядом ушел. Не впервой он уходил—все ничего было, а в тот раз ровно душа чуяла: не видать мне больше Алешеньку!

Проснулась я рано от нехорошего сна. Проснулась, и сердце так и бьется, так и бьется.

И сейчас тот сон помню. Будто, вижу я, идет Алешенька по широкой дороге, увидал меня, обернулся, ничего не сказал, только рукой махнул. А я, будто, понимаю, что он навовсе уходит от меня. Таково нехорошо мне стало. Разорвала, будто на себе белую венчалъную рубашку—и проснулась.

«Не к доброму сон»,—думаю.

Бабы в тот день капустную рассаду на гряды высаживали.

Разостлала я полог в огороде, посадила своих ребятёшек на него и тоже рассаду высаживаю. А из головы сон нейдет.

Только бы Алешенька на белых не парвался! Слышим, за деревней, ровно у Тыелгинских печей, стреляют. Из-за лесу черный дым поднялся. Тут бежит соседка к моему огороду и через пряслы кричит:

— Дарьюшка! Беги! Твоего Алексея на печах жгут!

А я поднялась с земли и рассаду в подоле держу, сама себя не помню. Побежала я к Тыелгинским печам, за мной соседка.

Пробежали версты с две, а навстречу нам едут казаки и чехи верховые, и с ними в качалке Шишкин—это богатеи наш деревенский. Выскочил из качалки—и ко мне:

— Вот она! Вот комиссарша Макуриха!—и за кофточку меня ухватил.—Твой Алешка Пеганку у меня с седлом увел!

Чех меня по спине нагайкой огрел. Вырвалась я, откуда только сила взялась. Прибежали, а на печах только головней гряда еще тлеет. Бросились мы разрывать, да где тут! Так дотемна мы и ходили, все искали да рыли...

После сказывали, Алексей со своим дружкой, моряком Потаповым, и несколькими красногвардейцами по какой-то причине отстали от отряда и остановились на печах. Мастером там был кум Алексея—Жуков.

Алексей, тот простой был, попросил кума покараулить, а сами отдохнуть хотели. И никак на кума не подумал, а тот, подлюга, крадче сгонял верхом в деревню и довел белым.

Чехи с казаками сейчас и налетели на отряд.

Наши в сарае засели. Патронов было мало, и стрелять скоро нечем стало.

Сказывают, беляки окружили сарай, а сам Жуков снял

с себя пиджак, облил керосином и поджег. Сарай сухой, старый, сейчас загорелся.

Алексей с Потаповым—оба они высокие, крепкие. Из сарая выбежали да в рукопашную на чехов. Ну, куда им с такой силой!

4. В КОЛЬЦЕ БЕЛЫХ

Отряд красногвардейцев-старателей выступал на Тургояк. Надо было собранное золото от белых припрятать; члены ревкома решили отправить его в Златоуст.

Это дело было поручено мне и товарищу.

Дождались мы ночи и незаметно вышли из деревни и лесом и горами пошли в Златоуст. Тут каждая тропочка знакома была, не раз хожеца. Перевалили мы Урал. Мешок, в котором золото, тяжелый. Несли его поочередно. Идем и каждый звук ловим. К приметам лесным приглядываемся, прислушиваемся.

На восходе солнца подошли к железнодорожному Тесинскому мосту, около станции Златоуст.

Остановились передохнуть. Стоим себе, покуриваем у железнодорожной будки. С сторожем заговорили. То да сё—дальше итти собрались, да сторож, не помню к чему, и скажи:

— А у нас в городе вечор власть переменилась!

Смагин спокойно так спрашивает:

— Что за власть? Белые, что ли?

— Белые, сынок! Чехи какие-то в городе!

Мы затаились еще раз махоркой и молча, не сговариваясь, пошли в сторону от моста и свернули в лес.

Вот, часто сейчас хочу вспомнить, не было ли мысли закопать золото в лесу, освободиться от него? Только нет. Не подумали мы об этом. Через Таганай лесами и горами двинулись с золотом на Екатеринбург—теперь Свердловск. Приходилось все же кое с кем встречаться, и знали мы, что кругом белые. В кольце мы очутились. Днем мы скрывались в лесу, в расщелинах гор. Ночами пробирались сквозь чащи, вязли в болотах и шли дальше.

Голодно было, и устали. Итти певмоготу было. А шли. Иногда доносилась ружейная и пулеметная перестрелка. Где-то рвались снаряды.

Только на третьи сутки, измученные, исцарапанные

сучьями и кустарником. мы прорвались через кольцо фронта и достигли Екатеринбурга.

Золото сдали под расписку комиссару.

5. ТРИНАДЦАТЬ ХРАБРЕЦОВ

Белые заключили нас—пленных миасских старателей— в Омский лагерь.

В лагере жилось тяжело. В бане нас не мыли, кормили впроголодь. Свирепствовал тиф. Вшей было на нас так много, что мы их стряхивали на пол и топтали ногами.

Заключенные барака № 5 решили бежать. Они сделали под землей подкоп, который должен был выйти за частокол ограды лагерей, но случайно подкоп был обнаружен.

Всех нас, несколько тысяч пленных, из всех бараков, выстроили на огромном дворе лагеря и объявили:

— Выдайте виновных—или расстрел через девятого.

— Не смее! Найдите виновных!—раздались со всех сторон крики.

Измученные, мы готовы были взбунтоваться, но чехи и казаки видели наше настроение и направили на нас ружья. Некоторые знали о подкопе, но все молчали.

Уже защелкали затворы; грозил массовый расстрел. И вдруг раздался голос:

— Мы делали подкоп!

На середину двора из рядов заключенных вышли тринадцать человек.

— Копайте могилу!—скомандовал комендант лагерей Лукашевич.

Принесли лопаты и кайла, и обреченные молча стали копать.

Конвой из чехов и казаков держал ружья на-изготовке, направленные на нас.

А мы стояли в рядах. Что мы могли сделать? На нас направлены были ружья. Мы были бессильны, и мы молчали.

— Готово!—сказал один из тринадцати, который первым вышел из рядов.

Смертники встали вокруг могилы, окинули нас прощальными взглядами, крикнули нам какое-то приветствие...

Раздался залп, и все было кончено.

Тринадцать храбрецов спасли нас от расстрела.

6. ПРО ЛЕНИНА

В один день солдаты о чем-то поспорили. И звонят они по телефону в Кремль, в палату, где Ленин жил.

— Нам бы Ленинское слово услышать. Нам бы решить: чо к чему, чо для чо.

Ленин в ту пору в постели лежал—беда как болел! А солдаты про то не знали. И получили они по телефону советы хорошие. Еще в гости их позвали в Кремль—чай пить, с Лениным говорить.

Приходят солдаты недолге в гости к Ленину в Кремль. А Ленин с постели встать не может—беда как болел!

Солдаты дивуются:

— Как же ты, Владимир Ильич, с нами разговаривал? Тебя лекари от постели не отпускают!

Ленин отвечает:

— То Сталина я с вами говорить послал.

Солдаты тут и говорят:

— Дело едино, слово едино. Ленинская речь, видать, не расходится со Сталинской.

Ленина буржуи убить хотели. Стреляли его сколько раз. Только Ленин все выздоравливал. Поранят его, доктора руками разводят—что поделать, как лечить—никак не придумают.

А Ленин сам себя лечил. Под Москвой высока гора есть. Всем горам гора! да не всяк ее видит—в лесах да в садах она стоит, к небесам голубым тянется.

А Ленин-то большой великий человек. Ему, чай, больша гора пригорком кажется. Так и назвал он ту гору Горки.

Взойдет пораненный Ленин на ту гору—ему весь мир виден. Все моря-океаны, все пашни-земли, все племена-народы. Как посмотрит Ленин на трудящийся народ, а они на него—сразу здоровье к нему вернется, силы прибавятся, глаза зорче станут, а рука тверже и ловчее.

КОММЕНТАРИИ К РАЗДЕЛУ «СКАЗЫ РАБОЧНИХ»

РАССКАЗЫ СТАРАТЕЛЕЙ

Записаны Б. Парамоновым в г. Миассе и на разных приисках «Миассзолота» в 1936—1937 годах от стариков-старателей, старожилов Миасских приисков.

Рассказы эти представляют чрезвычайно ценный материал, знающий с историей старательского дела.

Все рассказчики—люди с большим опытом, прекрасно знающие местность, умеющие искать золото. У них есть свои приметы, свои признаки, и трест «Миассзолото» широко использовал их знания и способности. По их рассказам были возобновлены работы в некоторых уже заброшенных шахтах и найдены богатые россыпи.

1. «Миасские богатеи» рассказали старожилы Миасса А. В. Коробатов и старатель Евдокимов.

2. «Золотокрады» и 3. «Хищники» рассказали старики—старожилы Миасса: шахтер-старатель Марининской шахты Ленинского прииска Евдокимов и старатель Пермиков А. А.

4. «Два самородка» рассказал старатель Ленинского прииска Бояршинов, 58 лет.

Во всех приведенных рассказах рисуются те тяжелые условия, в которых приходилось жить и работать старателю вплоть до Октябрьской революции.

РАССКАЗЫ ГРАНИЛЬЩИКОВ

Рассказы свердловских гранильщиков, как и рассказы других уральских художников-мастеров—златоустовских граверов, каслинских литейщиков—это еще не фольклорные произведения, но все же они чрезвычайно близки к фольклору.

Они сюжетны, в основе каждого рассказа лежит случай, широко известный в профессиональной среде, и что самое важное—варианты тех же рассказов можно слышать в различных местах, где только есть гранильщики и люди, имеющие дело с драгоценными камнями.

Все рассказчики в царское время были безымянными мастерами, изделия которых высоко ценились знатоками ювелирного дела: они получали дипломы и медали на выставках, но их таланты не могли развиваться при капитализме. Руководители гранильной фабрики подавляли всякое движение вперед в погоне за прибылями и, угождая мешанскому вкусу потребителя, внедряли безвкусную дешевку по западноевропейским образцам.

Огранка драгоценных камней—не ремесло, а большое искусство. Она требует знания свойств того или другого камня, требует исключительной точности в величине граней. Ошибка на какую-нибудь сотую миллиметра может испортить камень. В искусстве огранки уральских мастеров есть свой стиль.

1. Счастливые камни. 2. Зачем я учился

Рассказал А. Подкорытов, до сих пор работающий на гранильной фабрике в гор. Свердловске.

3. Две горки

Рассказал старый гранильщик и горочный гротколлекционер Д. К. Кубин, один из лучших мастеров по созданию горок.

4. Турмалины

Рассказал старый гранильщик Г. И. Бабанов.

В рассказе его говорится о неудачнике гранильщике, которого жизнь вынудила подделывать камни. Среди гранильщиков много ходит рассказов о подделке камней, широко практиковавшейся на Урале с конца XIX столетия.

5. Барин

Рассказал старый гранильщик П. Д. Титов. Рассказывает с большими отклонениями, но чрезвычайно связно; видно, что неоднократно рассказывал теми же словами. Для Титова вся жизнь—в работе над драгоценными камнями. Говорит только о камнях. Даже в неурочное время бывает в мастерской.

Среди гранильщиков встречались и удачники, становившиеся богачами, и «мыльные пузыри», которые, случайно разбогатев, быстро спускали свое богатство.

Рассказов о Баричеве, известном скупщике камней, много, так что рассказ Титова приобретает уже устойчивость,—но еще больше рассказов о «мыльных пузырях».

6. «Мыльные пузыри»

Рассказал А. И. Солодишкин, глубокий старик, но еще очень крепкий. Сам побывал в «мыльных пузырях», но об этом времени рассказывать не любит. В настоящее время кустарничает.

РАССКАЗЫ ГРАВЕРОВ

Рассказы златоустовских граверов записал Б. В. Зданевич на Златоустовском заводе со слов мастеров художественного отделения цеха имени Фрунзе, бывшего «цеха украшений», и просто-речи—«украшенного цеха».

Рассказы этих мастеров, культурных и талантливых художников,—это своего рода новеллы из жизни. Случай, который рассказывается в них, всегда типичен для порядков и людей «украшенного цеха» и рассказывается приблизительно одинаково всеми в цехе. Если вы начнете рассказ Ногтева читать Киселеву, то он сам закончит его, и наоборот.

В Златоусте эти рассказы уже являются изустными преданиями и анекдотами. Но помимо их художественной ценности, они являются ценным материалом для знакомства с отраслью искусства рабочих Урала, которая имеет все возможности занять место рядом с мастерами Палеха и Мстеры.

1. Соревнование

Рассказал В. М. Козырев, резчик по кости и дереву, 52 лет, с тридцатилетним рабочим стажем.

Козырев—талантливый резчик по кости.

2. Орел

Рассказал В. А. Киселев, 72 лет, бывший мастер «цеха украшений», сам гравер и резчик, теперь пенсионер. Работал в цехе 56 лет.

Его рисунки до сих пор копируют молодые граверы. Это он составил для павильона на Парижской выставке орла из трех тысяч двухсот частей—образцов продукции завода. За этого орла завод получил золотую медаль.

3. Смерть Яковлева

Рассказал И. И. Ногтев, 52 лет. Работает на заводе 38 лет.

РАССКАЗЫ ЛИТЕЙЩИКОВ

Рассказы каслинских литейщиков записаны в г. Касли в 1937 году.

Искусство художественного литья каслинских мастеров имеет мировую славу.

Каслинские литейщики и чеканщики были не только искусными мастерами, но и настоящими художниками. Знаменитые скульпторы и художники восхищались тонкостью и изяществом отделки, искусством, благодаря которому грубый, обыкновенный чугун превращался в сложные художественные группы, ажурные вазы, тончайшие, почти невесомые цепочки.

1. Цепочка

Рассказал старый формовщик литейного цеха Илья Сергеевич Мочалин.

2. Спор

Рассказал Глухов Федор Осипович. 50 лет работает на заводе чеканщиком.

РАССКАЗЫ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

1. Как песня меня живой сделала

Записала Е. М. Блинова в Челябинске в 1936 году со слов М. И. Евдокимовой, вдовы замученного белыми в 1918 году уральского партизана.

Этой совсем уже старой на вид женщине, седой и изборожденной морщинами, всего сорок пять лет. Голос у нее молодой и звонкий, и как-то по-особому звучат слова: «И, как один, умрем в борьбе за это»,—слова, вдохнувшие в нее жизнь.

2. Большак

Записано со слов красного партизана А. Н. Бабкина, рабочего Каслинского завода. Было напечатано в газ. «Челябинский рабочий» от 6/V 1937 года. Здесь тема об отце и сыне, встретившихся на разных сторонах фронта, повернута несколько иначе, чем в литературных и псевдонародных произведениях. Обычно врагами являются два брата, и один брат убивает другого или же сын убивает отца. В рассказе Бабкина никакой романтики нет. Отец, не задумываясь, убил бы сына своего, большака, который перешел к «белякам», но ему не приходится этого делать, потому что сын говорит: «Не стрелять, тятя, с чистой душой пришли. Мобилизованы мы были».

Рассказ имеет все данные приобрести со временем устойчивость и стать фольклорным произведением.

3. На Тыелгинских печях

Рассказала Дарья Макурина, вдова сожженного белогвардейцами партизана-старателя Алексея Макурина. Записал Б. Парамонов в г. Миассе в 1937 году.

4. В кольце белых

Рассказал партизан-старатель Красноперов. Записал Б. Парамонов в 1937 году.

5. Тринадцать храбрецов

Рассказал старатель Андреевского прииска М. Хлебников. Записал Б. Парамонюк. Партизан Хлебников заболел во время отступления старательского отряда из Миасса и попал в плен к белым. Его вместе с партией других арестованных отправили в Омск в концентрационный лагерь.

О лагере все бывшие в нем рассказывают ужасы. Омские рабочие через подпольную организацию сносились с заключенными и организовывали побег. О неудавшемся побеге из барака № 5 и рассказывал Хлебников.

Все эти рассказы дают жуткие, нигде еще не напечатанные эпизоды из истории гражданской войны на Урале, в частности из истории 49-го старательского отряда красновардейцев. Все факты, рассказанные участниками событий, по проверке оказались правильными; о них рассказывают очевидцы событий и рабочие, слышавшие об этих событиях от других.

6. Про Ленина

Записал В. П. Ильин в 1937 году в Верещагинском районе на станции Верещагино со слов старика машиниста Самсонова.

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя	3
--------------------------	---

ПРЕДАНИЯ И ТАЙНЫЕ СКАЗЫ

1. Орел-сокол и ворон-ведун	5
2. Тайный сказ про атамана «Золотого»	5
3. Старожилы о Пугачеве	9
4. Емелюшка	11
5. Сказ об атамане «Белая борода»	13
6. Про девушку Аниску	14
7. Бунт в слободе Воскресенской	17
8. Про водолазов	20
9. Из рассказов стариков	23
10. Эшафот	25
11. Нименова плотина	27
12. Челобитная	28
13. «На волю выйдем, да в неволе жить будем»	30
14. Обушники	30
15. Мордобой Шмаков	32
16. Кузнец и чорт	32
17. О молотобойце и чорте	34
18. Дорогое имячко	36
19. Про великого Полова	44
20. Медной горы хозяйка	50
21. Марков камень	59
22. Приказчиковы подошвы	64
23. Сказка о купце Семигоре, дочке его Настеньке и Иване Беглом	70
24. Медвежий огрызок	73
25. Бунт	77
26. Блюмовский разрез	80
27. Притча	84
28. Чапай	85
Комментарии к разделу «Предания и тайные сказы» . . .	87

СКАЗЫ РАБОЧИХ

Рассказы старателей

1. Миасские богатеи	107
2. Золотокрады	108
3. Хищники	111
4. Два самородка	113

Рассказы гранильщиков

1. Счастливые камни	115
2. Зачем я учился	120
3. Две горки	125
4. Турмалины	130
5. Барин	134
6. «Мыльные пузыри»	144

Рассказы граверов

1. Соревнование	147
2. Орел	147
3. Смерть Яковлева	148

Рассказы литейщиков

1. Цепочка	151
2. Спор	153

Рассказы о гражданской войне

1. Как песня меня живой сделала	157
2. Большак	159
3. На Тыелгинских печах	160
4. В кольце белых	162
5. Тринадцать храбрецов	163
6. Про Ленина	164

Комментарии к разделу «Сказы рабочих»	165
---	-----

Редактор М. Чечановский

☆

А34901. Тираж 10 000 экз. Подписано к печати
12 февраля 1941 г. Печатн. листов 10³/₄. Автор.
лист. 9,08. Колич. печ. знаков. 36.800. Зак. 1495.

Цена 5 руб. 50 коп.

16-я типография треста «Полиграфкнига»,
Москва, Трехпрудный, 9.

68



www.somb.ru



★00824880★



